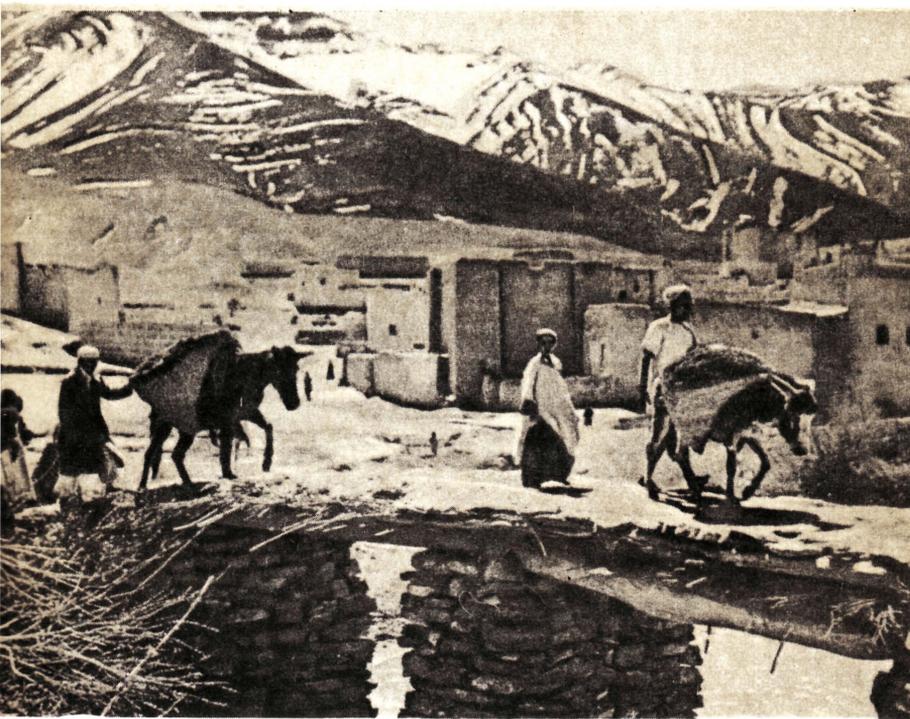


**ВОКРУГ  СВЕТА**

**4** 1969  
АПРЕЛЬ



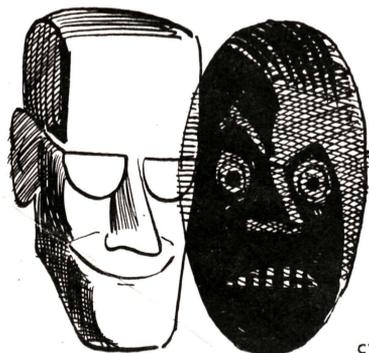
стр. 2



стр. 52



стр. 68



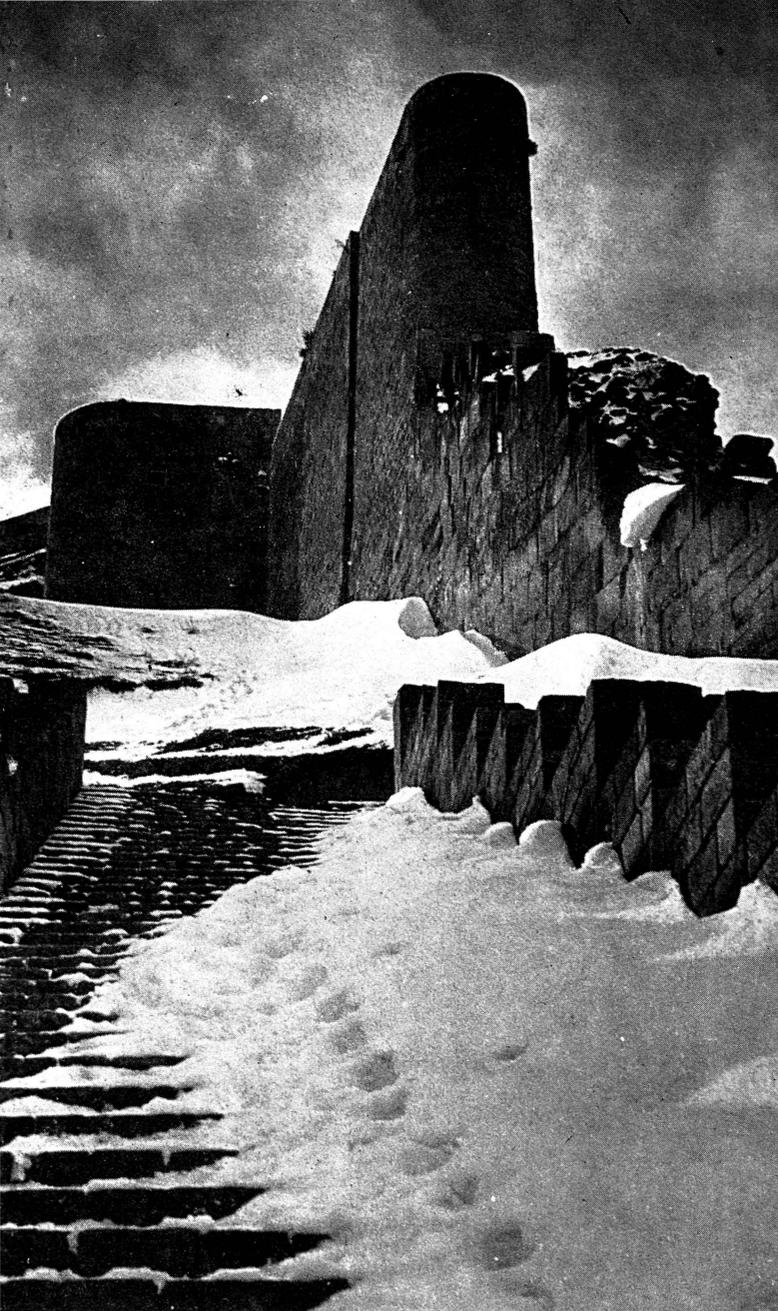
стр. 36



стр. 50



стр. 8



стр. 17



стр. 77

# 1969 ВОКРУГ ГЛОБУСА СВЕТА

№ 4  
АПРЕЛЬ

Журнал основан в 1861 году

НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЦК ВЛКСМ  
ПУТЕШЕСТВИЙ, ПРИКЛЮЧЕНИЙ И ФАНТАСТИКИ

## На страницах номера:

### 99 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

«За ленинское отношение к природе». Игналина — Национальный парк. Очерк нашего специального корреспондента.

Карта XXI — Донбасс. Наш специальный корреспондент продолжает поиск, связанный с пометками В. И. Ленина в атласе «Железные дороги России».

«Кому открыт космос». Заметки научного обозревателя.

«Четыре дня Чикаго» — репортаж писателей — очевидцев полицейской расправы над участниками демонстрации в августе прошлого года.

«Их называли маврами» — рассказ о берберях, живущих в горах Атласа.

Фантастические юморески Валентина Берестова.

Впервые на русском языке: кенийская писательница Грейс А. Огот (новелла «И пошел дождь...»); итальянский писатель и режиссер Марио Солдати (рассказ «Знаменитая актриса»); швейцарский прозаик Ганс Бёш (фантастический рассказ «Безупречность»).

«У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция, — чтобы создать действительно могучую и обильную Русь», — писал Владимир Ильич Ленин.

Неоднократно — и в письмах и в статьях — В. И. Ленин возвращался к мысли о том, как велико значение бережного отношения к природе, заботы о сохранности и приумножении ее богатств.

Насколько большое внимание вождь первого в мире Советского государства уделял проблеме рационального природопользования, видно из того, что даже в трудные годы гражданской войны, когда страна испыты-

валась топливным голодом, В. И. Ленин говорил о недопустимости непродуманной рубки леса; писал о важности правильного ведения лесного хозяйства и рациональной эксплуатации источников сырья. В. И. Ленин одобрил идею создания заповедника в дельте Волги, предложил взяться за это дело в самом широком масштабе. Хозяйскую заботу о природе у нас в стране не случайно называют ленинской.

Под рубрикой «За ленинское отношение к природе» мы будем рассказывать о том, как ленинская идея сбережения и разумного использования общенародного достояния — природных богатств, овладев миллионами советских людей, претворяется в жизнь.

# ЗАБОТА

В. АРСЕНЬЕВ, наш спец. корр.

*И пред ним, зеленый снизу,  
Голубой и синий сверху,  
Мир встает огромной птицей,  
Свищет, щелкает, звенит.*

**Д**ля меня эта строфа из «Птицелова» Багрицкого словно барометр. Когда она вдруг сама по себе всплывает в памяти, знаю, что поездка случилась незряшная и надолго останется в памяти.

В окрестностях небольшого литовского городка Игналины впервые я побывал довольно давно и почти случайно, проездом. Путь мой шел тогда через сосновые боры и песчаные кручи Куршской косы, по жемайтйским дорогам с резными скульптурами на столбах и крыльями ветряков, мимо прибрежных лугов Немана... Но манок Диделя-птицелова молчал. И совсем неожиданно счастливо запел, засвистал вещуном, когда за Игналиной, за поворотом лесного пути, появились холм, заросший темным глухим ельником, несколько домов и петли травянистой реки.

Если разобраться, здесь ничто не поражало глаз яркой красотой...

Меж шершавых стволов, под

сухими ветвями бродил в задумчивости белый стреноженный конь. От жилья стлался по стынущей опушке лиловый дым. Вечерняя роса жемчугом одела высокие травы.

Пробираясь к реке — вымок по пояс. Прозрачная река, казалась, бежала прямо по лугу — в воде шевелились зеленые плети, длинные и мягкие. В коричневатом сумраке они переплетались с листвою ветлы, подточенной и опрокинутой в воду самой рекой. В омуте яростно охотился жерех. Раздавались тяжелые удары — жерех глушил мальков себе на ужин...

А потом местные земли стали открываться прямо с дороги удивительными пейзажами. Высокие

...С вершины Лядакальниса — Ледяной горы — было видно так далеко, насколько позволяли светлые туманы.

Фото автора и К. ГИНЮНАСА



увалы делили цепочки ярко-синих озер. Одни за другими вставали кулисы лесов, прозрачные и невесомые вдали, а поблизости темные и таинственные. Красные суглинки косогоров выглядывали из зелени, точно бока румяных яблок. А возле редких проселков собирались уютные рубленые постройки.

Окрестности Игналины так и заминались: мир тишины и покоя, мир природы. Но казалось, этот край почти незнаком туристам и отдыхающему люду. Лишь его коренные хозяева — аукштайтисы, как и в стародавние времена, вязали и тянули по тихим озерам плоты, валили лес, промышляли рыбу и зверя.

## ЗА ЛЕНИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ

Но вот во время недавней поездки в Литву я убедился: к Игналине лишь присматривались чуть-чуть дольше, чем к знаменитой нынче Паланге. Здесь решили создать Национальный парк, и, как всякое новшество, он требовал гораздо больше внимания и разведки, нежели обычная курортная зона.

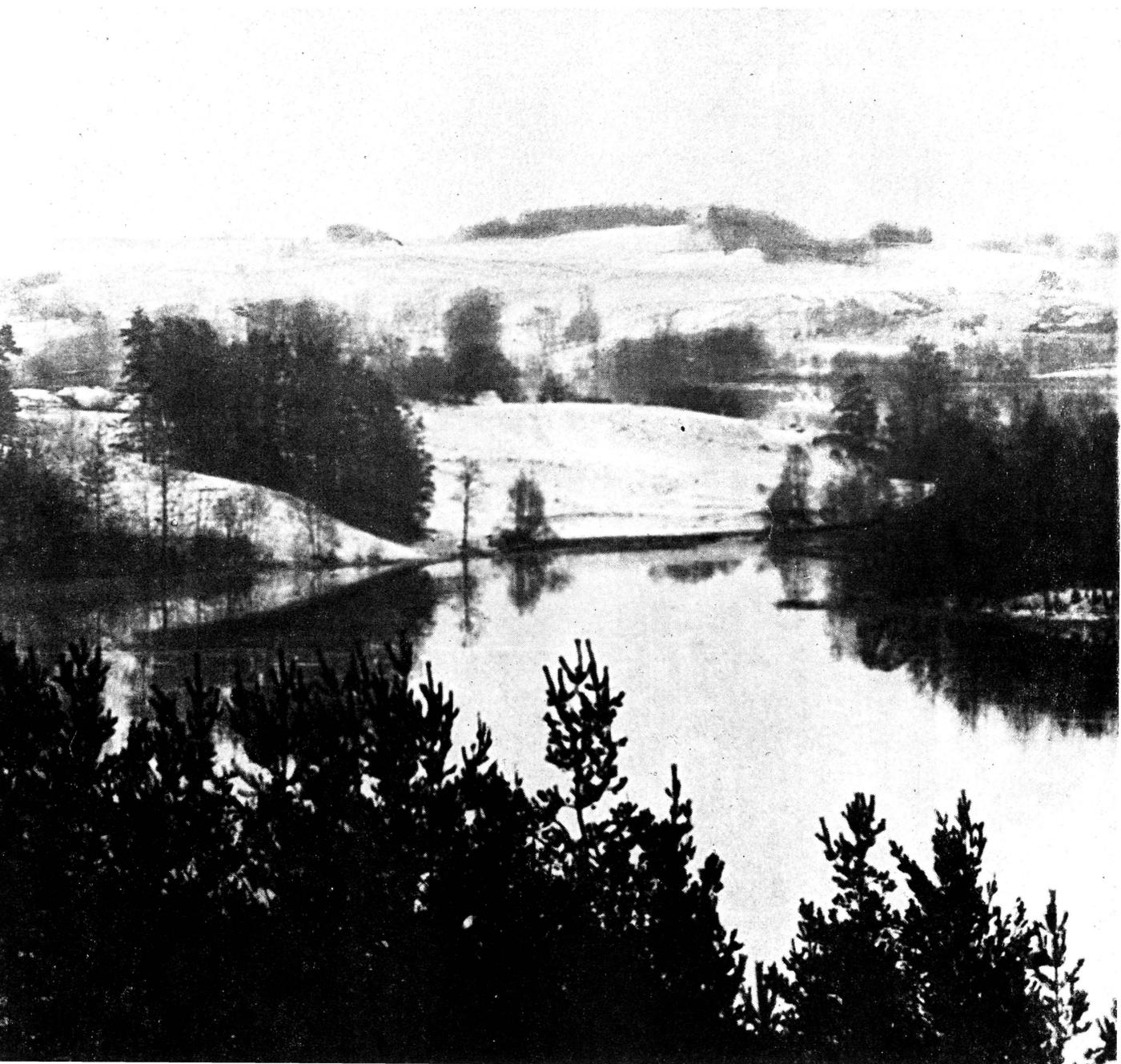
### ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

— Так что же такое Национальный парк? — спросил Бергас будто бы у самого себя и положил на стол книжицу в зеленой

обложке. «Международные соглашения по охране природы». Я догадался, что председатель садится на любимого конька. Меня предупредили, что председатель Комитета по охране природы — по образованию юрист и рано или поздно я это почувствую.

— Так что же такое Национальный парк? — повторил Бергас, глядя на меня из-под очков. И пододвинул ко мне сборник, предварительно отчеркнув ногтем какой-то абзац. — Давайте-ка вместе послушаем...

Я прочел вслух:



— «...Лондонская Конвенция...— Ага, вот где начало. — Выражение «Национальный парк» означает район, а) поставленный под государственный контроль, границы которого не могут быть изменены или любая часть которого не может быть отторгнута иначе, как по решению компетентных законодательных властей; б) выделенный для размножения, защиты и сохранения диких животных и дикой растительности и для охраны объектов, представляющих эстетический, геологический, доисторический, исторический, археологический или любой другой научный интерес на благо, пользу и для наслаждения широкой общественности; с) в пределах которого запрещается охота, отстрел или отлов животных и уничтожение или коллекционирование флоры... В соответствии с вышеупомянутыми положениями широкой общественности должны быть, насколько это возможно, предоставлены условия для созерцания фауны и флоры в национальных парках...»

Бергас, похоже, обо мне забыл. Он стоял у подоконника, на котором примостилось чучело глухаря, и глядел куда-то поверх дальних вильнюсских костелов, где плыли растерзанные зимние облака. Прямо за окном сыла позеленевшая река.

— Это будет великолепно! — сказал он вдруг. — Стены — ветер, крыша — солнце!

...Крыша — солнце! — повторил Бергас, смакуя. Он молча некоторое время барабанил по столу, отходил от нехвата нахлынувших грез. Должно быть, председателю виделись контуры будущего литовского парка: обожженные солнцем боры, слепящие кварцевые пляжи у зачарованных озер...

Еще до того, как стать юристом, а потом председателем Комитета по охране природы, Бергас работал землеустроителем, Литву от края и до края исходил пешком. Историю и географию своей земли, ее птиц, травы, леса, зверей он изучал не только по книгам. И как каждый исследователь, натуралист, он за долгие годы скитаний под солнцем познал и ощутил совершенство природы. Так что в его устах «стены — ветер» не было случайно оброненной или выспрненной фразой. Но для постороннего она все же звучала достаточно абстрактно. И Бергас тут же постарался расшифровать:

— Наш Национальный парк бу-

дет базой для науки, туризма, отдыха и, наконец, педагогики — студенческих практик и так далее. Организационный центр расположим на «станции природы». Музей, кинозал, гостиница, лаборатории для студентов — все будет на этой станции. Впрочем, это уже частности... Главное — создав парк, мы сможем продемонстрировать условия, в которых и человек и природа будут взаимосвязанно совершенствоваться и здороветь. Но работы впереди — ой-ей-ей!

Национальный парк ведь лишь малая часть наших забот. Литва разделена на три зоны — промышленную, сельскохозяйственную и зону курортов и отдыха. Все эти зоны накрепко связаны. Шире производство, выше темп жизни. Значит, и восстанавливаются физические и духовные силы человека должны в те же сроки, эффективнее. Здесь помощник номер один — естественные природные богатства: реки, озера, леса, морское побережье. Но и они, как люди и машины, изнашиваются. Реки могут мелеть, зарастать озера, болеть и выгорать леса, размываться пляжи, эрозия может превратить почвы в прах. Нужно добиться, чтобы этого не случилось. Надо договориться с архитекторами, где и как проектировать новые курорты, турбазы и прочее. Выслать патрули ученых и студентов, создать посты, которые бы предупредили возможные хвори природы, обеспечили бы воспроизводство и защиту флоры и фауны. Оговорить возможность использования того или иного района для курортного земледелия — земледелия, которое сможет обеспечить отдыхающих калорийными продуктами.

Забот немало. Но работа увлекает Бергаса отчаянно, и окружен он огромным количеством добровольных помощников, и число их быстро растет.

## УЧЕНЫЕ

При встрече Кудабя шутивно откомендовался: «В Литве про таких, как я, говорят: «ксендза из него не сделали, мужика в нем испортили...»

В тридцать лет Кудабу сделали деканом естественного факультета Вильнюсского университета.

С детства он видел себя геологом... В Вильнюсе подал документы на геологическое отделение естественного факультета. Был уверен, что уже добился

цели, и потому со спокойной душой помчался с ребятами в Игналину. Там взяли старый рыбацкий челн и устроили экспедицию — плавали по Жеймяне, искали, где эта потерянная в озерах река берет свое начало. На челне они спустились в Вильнюс. И тут Кудабя предложили перейти на географический. Согласился.

...Своим старым маршрутом по Жеймяне он проплыл еще раз, но теперь уже профессиональным географом. Затем возвращался в Игналину еще и еще... И к тому времени, когда стали подумывать о Национальном парке, Кудабя по праву считался специалистом по «игналинскому вопросу».

Так что нет ничего удивительного, что именно доцент Кудабя и его коллеги по факультету — старший преподаватель Гальвидите и доцент Щемелевас — взялись выполнить заказ Комитета по охране природы. Цель работ была сформулирована пока осторожно: произвести оценку природных условий Игналинского заказника и подготовить рекомендацию для дальнейшего использования района в туристских, курортных и научных целях. И хотя каждый из четырех, включая Бергаса, понимал, что речь идет о разведке в пользу Национального парка, термин этот тогда старались в договоре не упоминать — еще не было окончательной ясности.

...Вместе со студентами они картографировали сады, прикидывали, где необходимо гонкий лес — лес-скороспелку — заменить стойкими и красивыми деревьями, занимались экономической оценкой почв, составляли карты распространения лекарственных растений, исследовали рельеф края, с тем чтоб найти, в частности, наиболее привлекательные пейзажи, замеряли глубину озер и ширину пляжей.

Обнаружили интересную особенность района. Разреженные сосновые леса Игналины создали здесь острова микроклимата. Средние годовые температуры оказались на два-три градуса выше, чем в окружающих землях. А тут еще и необычайно теплые озера, — небольшие, закрытые высокими берегами и лесами, они могли поспорить летом с парными водами Черного моря. И то и другое лишний раз доказывало, что район чрезвычайно перспективен для развития туризма и курортов.

Три тома, составленные учеными, вобрали в себя своеобразный портрет края.

За первой экспедицией последовали другие. Ученым очень помогли в этом деле любительские экспедиции краеведов.

Любительскими, правда, они были лишь по своему статусу и финансовому положению. Если перелистать книги-отчеты, изданные в республике после таких экспедиций, можно увидеть среди авторов фамилии известных историков, археологов, ботаников, географов, этнографов. Приурочив свой отпуск к срокам очередной экспедиции, они отправлялись на случайно зафрахтованном грузовике то в Эржвилкас — интересный этнографический район южной Жемайтии, или в Зярвинос, Девянишкес, Мяркине, или в Дубингай, или уже в знакомую Игналину.

Книги-отчеты не залеживались в киосках. Вместе с их популярностью росло и число желающих участвовать в новых экспедициях...

Закончил свои размышления Кудоба довольно неожиданно. Рассказал, что теперь архитекторы, проектировщики и строители, которым так или иначе приходится что-то менять и переиначивать в природе, ежедневно сталкиваются с жестким контролем тех, кто еще недавно считал себя простым наблюдателем.

## АРХИТЕКТОРЫ

Гедрюс Данюлайтис, главный архитектор сектора рекреационной и ландшафтной архитектуры Каунасского НИИ строительства и архитектуры, быстро набрасывает на листе бумаги контуры — дерево, озеро, обрыв, река...

— Посмотрите: и дерево, и река, и обрыв — вы никогда не задумывались, что это своеобразные архитектурные детали, из которых слагается тот или иной облик природы? Оперирование природными элементами как строительными блоками; композиционная увязка архитектуры и ландшафта и есть суть работы ландшафтного архитектора... Но такое оперирование возможно лишь с единственной целью — преобразования ландшафта в лучшую сторону, совершенствования природы.

Сектор рекреационной и ландшафтной архитектуры пока лишь скромное начало в будущем очень перспективного дела. Работают в секторе девять человек.

Среди них экономист и географ. Но уже сейчас сектор координирует работу по планировке зон отдыха во всей советской Прибалтике.

Географ Повилас Кавалаяускас завалил передо мною стол десятками карт и схем.

— Предположим, собираются создать новую зону отдыха. Что надо прежде всего знать о таком районе? Чем он одарит и очарует приехавшего отпускника. У нас это называется — выявить природные рекреационные ресурсы территории. Точные и подробные сведения позволяют исследуемый район или его часть отнести к одной из четырех категорий: первая категория — отличные условия для отдыха: широченные песчаные пляжи, масса озер и речек, чистые берега, сосновые боры и т. д.; вторая категория — условия хорошие. Потом удовлетворительные и плохие. Проектировщики будущей зоны отдыха посмотрят на карту: ага, здесь делать нечего — район помечен четвертой категорией. А вот тут, по соседству, можно расположить водную станцию, здесь санаторий — леса подходящи, там — яхт-клуб: озеро обмерено и для яхт раздольно — широко и глубоко, и берега открыты для ветров!..

— Но мы, конечно, не ограничиваемся такими исследованиями, — вступил в разговор Стаускас, руководитель сектора. — Географ все же односторонне оценивает территорию. И только вкуче с работами экономистов, социологов и прочая и прочая оценка района становится действительно всеобъемлющей. Тут мы и приступаем к своей, непосредственно своей работе — работе по организации пространства.

Мы не всегда являемся авторами конкретных проектов, будь то здание турбазы или санатория, — продолжал Стаускас. — Главная наша цель — дать проектировщикам — исполнителям методику: где и как лучше строить. Как интереснее и правильнее организовать пространство курортного городка или целой зоны отдыха. Какие типы зданий будут лучше смотреться, предположим, на фоне дюн Неринги и в то же время не нарушат цельности и своеобразия пейзажа... Нынешним летом, вероятно, нам предстоит заняться Национальным парком. Это будет продолжением наших предыдущих работ. Первый национальный парк в Литве уже фактически существует, хотя

и не имеет такого официального названия. Это — коса Неринга. Но в Игналине нам придется быть как никогда внимательными. Ведь, помимо всего прочего, Национальный парк будет и своеобразной выставкой, демонстрацией взаимоотношений человека и природы. И именно поэтому мы не должны допустить даже малейших просчетов.

## ЛЕСНИК

...Зимой в Игналине и окрестности тихо-тихо. Соберутся разве что лыжники попрыгать с трамплина.

Сюда туристы едут летом. Горят тогда над озерами костры, гремят гитары, шныряют по водам байдарки...

— Конечно, летом и надо приезжать, — сказал мне районный инспектор по охране природы Йозас Мейдус. — Что сейчас можно увидеть? Снег да лед!

Но со мной все же поехал. Вероятно, по-хозяйски боялся, как бы я не проглядел что-то интересное на игналинских дорогах.

Запорошенные земли лежали среди неотдыхавших лесов. Озера спали под звонкими и прозрачными льдами. И шишка, пущенная по озерному льду, неслась далеко-далеко, весело вызывая и крутясь.

На берегу озера Лущай мы впервые остановились, и я по снежной крупе обошел вокруг старого деревянного костела. Костел спрятался под огромными деревьями-патриархами. У деревушки Мейронис проехали под разноцветной аркой — здесь справляли свадьбу и по местному обычаю над дорогой, в радость молодым и к сведению всех проезжих, соединили верхушками две сосенки. Деревца были украшены, точно новогодние елки...

Как главный сюрприз Йозас показал знаменитую гору Лядакальнис — Ледяную гору. В зимнюю стужу она действительно напоминала ледяную глыбу, торчала сахарной головой над озерами и перелесками. С ее вершины было видно так далеко, насколько позволяли стильные туманы, выплывавшие над островами лесов. Пелена скрывала горизонты, и казалось, что белесый небосвод — это огромное безбрежное озеро, окружившее игналинские земли.

На обратном пути Йозас посоветовал:

— Надо съездить в Жельмениш-

кня. Там наш Король живет. Его так все и зовут — Король зверей. А фамилию знает не каждый...

Жельменишкой стояла у самого леса. Крайняя изба и оказалась домом Короля — Шинкунаса. Темные окна глядели в чащу. Шинкунаса дома не было. «Отправился куда-то в обход, по лесам, озерам», — объяснил лесничий, случайно оказавшийся в Жельменишкой. Он же помог чуть позднее отыскать на лесной тропе Короля.

Шинкунасу перевалило за шестой десяток. Старик не старик, таким в общественном транспорте на всякий случай места уступают. В руках рыболовный ящик. В ящичке, словно деревяшка, стучит замерзшая щука.

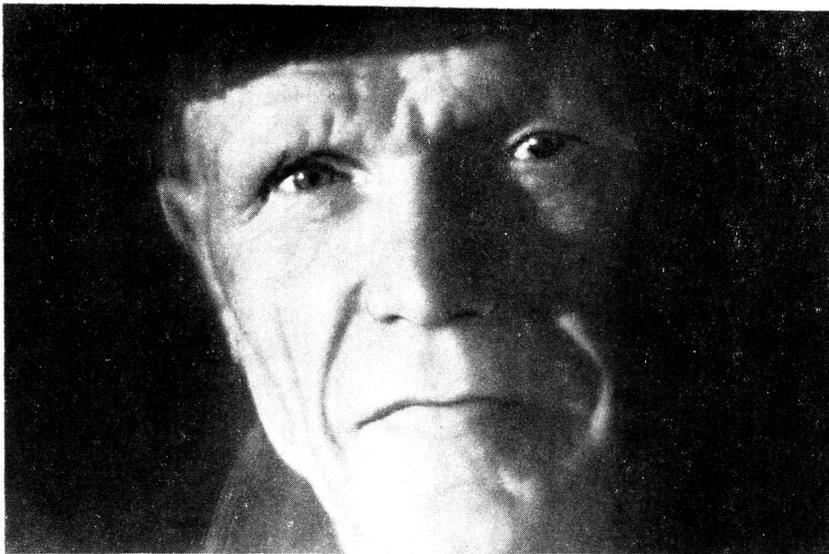
Сейчас Король зверей работает лесником. И, как каждый лесной человек, почти ежедневно с разными зверюшками встречается. Но прозвище заработал не теперь, это еще когда егерем был. (При упоминании о прозвище лицо Шинкунаса собирается веселыми морщинками — прозвище ему нравится.) А егерствовал он долго и все вот здесь, в родных местах.

...Он любил бродить по лесам, оставив дома старенькую «тулку». Любил протряться по зимней дороге на возу с сеном и картошкой — подкормкой для лосей, косуль, кабанов, голодающих в голом продрогшем лесу. И у пустых пока кормушек видел в чаще ждущие настороженные глаза — с чем идет человек? А на обратном пути веселился как мальчишка, когда с дороги скакали в ужасе косули с зажатыми во рту клоками сена. Сено на дорогу он бросал специально, чтобы на чистом месте получше рассмотреть красавиц...

В нехитром рассказе Короля было что-то привлекательное не только для меня, впервые его увидевшего.

Слушал его лесничий, начальник Шинкунаса по теперешней службе, — здоровенный парень с такими огромными и красными ручищами, будто их только что покусали пчелы. Прислушивался и шофер, бывавший у Короля не раз.

А Шинкунас словно вел нас за собой в свои старые егерские владения. В прозрачные леса, где хрипя и вспахивая землю, бились из-за самок великаны лоси. В густые заросли, через которые мягко, неслышно ходят зеленоглазые рыси. Рассказал, как эти



Король зверей — Шинкунас и его подопечные.

большущие и ленивые кошки, пролетев наметом за косулями сто — сто пятьдесят метров и не настигнув сразу жертву, поворачивают назад к своей засаде с таким уморительным видом, точно кто-то оторвал их от забот глупой безделицей.

А однажды посчастливилось ему набрести на мокренького, только что родившегося лосенка. И тогда Король бросился бежать домой, чтобы показать такую невидаль своему другу. Они неслись назад, не разбирая дороги, обдираясь о колючий сушняк. Но не успели — лежка была пуста...

— Куда же он делся? — не вы-

держал я. — Ходить-то он не умел?

— Куда, куда... — с запозданием расстроился Шинкунас. — Известно, мать и унесла. У нее губищи — во! Взяла небось за шиворот и отнесла подальше от греха...

Неспешные рассказы Короля зверей словно подытожили те впечатления, что родились во время последних встреч — с Бергасом, учеными, архитекторами...

Я увидел, с каким тщанием и нежностью можно пестовать природу, привнося в эти заботы дальновидность, доброту и фантазию.





# ЗНАМЕНИТАЯ АКТРИСА

Из рассказов старшины карабинеров

Есть много причин, по которым в пути мы открываем свою душу не только друзьям, но даже совсем незнакомым людям. И быть может, одна из самых главных — чувство оторренности от повседневной рутины, постоянных забот. Мысль о том, что однажды мы вот так же покинем эту землю, как несколько часов назад покинули родной город, заставляет нас поверить спутнику самую заветную тайну.

Так или иначе, но едва поезд миновал Флоренцию, Джиджи без всяких видимых причин сам рассказал мне о краже, происшедшей десять лет назад. Тогда и состоялось мое первое знакомство со старшиной карабинеров — Джиджи Арнауди, которое вскоре перешло в настоящую дружбу. Мы сидели с Джиджи в вагоне-ресторане скорого поезда. Джиджи ехал по делам в Пьяченцу, я в Милан. По-весеннему ярко светило солнце, заливая золотистым светом заснеженные горы. И хотя зима еще не думала сдаваться, на южных склонах Апеннин уже появились зеленые и коричневые пятна. Голубое небо, какая-то особенная легкость, словно разлитая в воздухе, улыбающееся лицо девушки с велосипедом у переезда — все говорило, что жизнь, хоть и редко, но все же бывает прекрасной, исполненной радужных надежд.

— Еще рюмочку коньяку, Марио?

— Ну, что ж, не помешает.

За соседним столиком пожилой, элегантно одетый господин расплатился и ушел, оставив на столе иллюстрированный журнал. С обложки нам загадочно улыбалась знакомая актриса. Я был режиссером фильмов, в которых она снималась в главной роли. Когда



мы снимали натурные сцены у реки По, я и встретился с Джиджи Арнауди.

— Да, с тех пор наша старая знакомая прошла немалый путь, — сказал Джиджи, неторопливо протирая очки носовым платком и уставившись в пустоту близорукими глазами, словно перед его взором проходили сейчас события десятилетней давности. И, если судить по выражению его синих глаз, эти события были не слишком веселыми.

— Мне следовало бы гордиться знакомством с такой великолепной артисткой. И признаюсь тебе, Марио, вечерами, сидя в кафе, я порой хвастаюсь этим перед друзьями. Но, откровенно говоря, хвастать тут нечем. Видишь ли, наша встреча произошла в трудную для нее минуту... Она была тогда совсем еще молодой женщиной, только начинавшей свою артистическую карьеру. Но одного у нее нельзя было отнять — стремления пробиться, пробиться любой ценой. Впрочем, тебе это самому отлично известно. Но я за корот-

кий срок узнал ее глубже и лучше, чем ты. Заслуга здесь не моя, а лишь случая. Ты, конечно, помнишь, по какому поводу я впервые появился в вашем съемочном лагере?

— Кажется, тогда у нашей звезды украли браслет, не так ли?

— Да, ты не ошибся.

— Но, Джиджи, браслет сразу нашли. И так и не доказано, что это действительно была кража.

Мне живо вспомнилось, как однажды осенним утром у нашей ведущей актрисы пропал платиновый браслет, усыпанный бриллиантами, стоимостью в несколько миллионов лир. Будущая знаменитость делала тогда лишь первые шаги на тернистом пути славы. Но, видимо, она уже обладала изрядным опытом и ловкостью, раз смогла приобрести столь дорогую вещь. Узнав о пропаже, она разрыдалась и устроила мне настоящий скандал. Я прервал съемку и послал в ближайший городок за старшиной карабинеров. Полчаса спустя на «джипе» прибыл Джиджи.

Меня поразили бледное лицо, белокурые волосы, очки в золотой оправе и особенно неподдельная вежливость старшины карабинеров, говорившего с легким пьемонтским акцентом. Все это вместе с мягкой, чуть ироничной улыбкой как-то не вязалось с традиционным представлением о полицейских.

Джиджи начал допрашивать одного за другим артистов и техников, которым по делам приходилось бывать в рулоте<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Рулот — специальный автоприцеп для туристов, оборудованный под жилье или мастерскую.

где жила кинозвезда. Выяснилось, что свой драгоценный браслет она хранила в шкатулке. Эта шкатулка путешествовала с ней из гостиницы в город, а оттуда в поле на место съемок. На время съемок актриса оставляла шкатулку в рулоте, в ящике стола, предварительно заперев шкатулку на ключ. Сам ключ хранился у ее личной портнихи. Впрочем, замок был столь простым, что отомкнуть его можно было даже куском проволоки. К несчастью, актриса не помнила точно, когда она последний раз открывала шкатулку. Но только не в то утро, когда обнаружилась пропажа. Потом она припомнила, что и накануне вечером не вынимала браслет. А значит, вор имел достаточно времени, чтобы спрятать его в надежном месте. Допрос происходил в рулоте.

Старшина карабинеров беседовал с каждым один, без свидетелей. Актриса ждала снаружи, нервно прохаживаясь по спальной июльским солнцем деревенской улочке, мимо трех грибов. На глазах у рабочих она зажигала одну сигарету за другой. Сделав две-три глубокие затяжки, она бросала недокуренную сигарету и яростно втаптывала ее носком туфельки в пыльную землю. После допроса каждый подвергся обыску. Далеко не всем это понравилось. Тогда, чтобы подать остальным пример и помочь симпатичному старшине карабинеров, я попросил начать с меня. Обыск не дал никаких результатов. Джиджи уехал, а кинозвезда весьма неохотно согласилась возобновить прерванную съемку.

Все три костюмерши, парикмахерша, обе гримерши вытирали покрасневшие от слез глаза. Дольше всего Джиджи допрашивал именно их, и, возможно, они плакали от незаслуженной обиды и оскорбления. Но у меня осталось впечатление, что все, точно сговорившись, разыгрывали патетическую сцену. Даже мужчины — электрики, машинисты, техники, звукооператоры — ужасно сокрушались о пропаже. Между тем им было глубоко наплевать на то, что у ведущей актрисы пропал браслет стоимостью в десять миллионов лир. Больше того, в глубине души они даже злорадовывались, но говорили грустно, впол-

голоса, словно умер их лучший друг. Лишь я один продолжал смеяться и кричать, как и прежде. Я тоже весьма мало жалел о пропаже, но в отличие от остальных не считал нужным лицемерно выражать потерпевшей свое сочувствие. Это явно выходило за рамки сценария.

На следующее утро, еще до начала съемок, распространился слух, что браслет найден. Его обнаружила молодая парикмахерша, убирая рулоте перед приходом хозяйки. Он валялся на полу, возле ковра, в неглубокой трещине. Оставалось неясным, сама ли актриса нечаянно уронила браслет или же его сунул туда вор, боясь разоблачения. Возможно, он просто был не в состоянии избавиться другим путем от своей добычи. Во всяком случае, наша примадонна была счастлива. Она заказала в Мантуе корзину с шампанским и угостила всех артистов и техников, которые снова растрогались. И вновь совершенно неискренне. После самой ак-

бался, глядя поверх нас на тополя, тонкой стрелой протянувшиеся вдоль реки.

Точно так же улыбался он и сейчас, когда мы неторопливо попивали коньяк в вагоне-ресторане, слегка разомлев от духоты.

— Значит, ты поверил, что браслет найден чисто случайно?

— Нет, Джиджи, я подумал, что вор по каким-то причинам решил от него избавиться. Возможно, он понял, что риск слишком велик.

— Э, каро Марио, все было иначе. Не стану тебе рассказывать, как я по ряду мельчайших признаков догадался, кто именно украл браслет. Да, собственно, эта история интересна не тем, каким образом мне удалось ее распутать, а своей неожиданной концовкой. Знаешь, Марио, за долгие годы работы у меня сложилось твердое убеждение, что при допросе итальянец, даже если он невиновен, ведет себя почти так же, как истинный преступник. Причин тому множество, но главная из них та, что каждый перед лицом правосудия



Рисунки И. ГОЛИЦЫНА

трысы больше всего поздравлений выпало на долю парикмахерши. Старшина карабинеров, который по приглашению актрисы остался поужинать с нами, произнес краткий тост, пожелав успеха всей труппе и удачной карьеры героине фильма.

Держа в руке картонный стаканчик, он загадочно улы-

пытывает инстинктивный страх. Если даже допрашиваемый и не совершил именно это преступление. И вот задача полицейского, следователя или судьи уловить тончайшую разницу между этим «почти», которое говорит о невинности подозреваемого, и подлинной растерянностью, за которой кроется страх перед расплатой.

Обычно не следует доверять тому, кто на допросе держится весьма уверенно. Так вот, допросив всех, кто имел доступ в рулот, я заподозрил в краже парикмахершу нашей актрисы. Она одна на все мои вопросы отвечала, не краснея, бойко и, я бы даже сказал, нагло. А потом, когда я вышел из рулота, то увидел, что она стоит в кругу своих подружек и вытирает платком слезы.

Худоцавая, темноволосая, подстриженная под мальчика, она казалась моложе своих лет.

— Аида. Я ее отлично помню и знаю, где она сейчас.

— Ну что ж, Марио, ты, думаю, уже догадался, чем кончилась эта история?

— Откровенно говоря, не совсем.

— Тогда расскажу. Закончив допрос, я ушел и сразу же отправился в Мантую, захватив с собой вашего секретаря-распорядителя, который имел список всей труппы с точными адресами каждого. Я как бы невзначай спросил у парикмахерши, что она делала вечером. Понимаешь, я подумал, что вряд ли кража произошла утром. В этом случае кинозвезда успела бы обнаружить пропажу раньше, чем удалось бы спрятать браслет. Скорее всего, браслет был украден вечером, после окончания съемок и перед самым возвращением труппы в город.

Аида ответила, что вечером ходила в кино. С кем? Одна. Тут уж я окончательно утвердился в своих подозрениях. Такая симпатичная и молодая девушка отправилась в кино одна, без провожатого! От вашего секретаря я узнал, что Аида ночевала в третьеразрядной гостинице, деля номер со своей подружкой-костюмершей.

Я выяснил также, что Аида обручена с электриком, который жил в той же самой гостинице, и записал его фамилию. Затем сел в «джип» и поехал в город.

Предъявив в гостинице свои документы, я получил от портье регистрационную книгу и выяснил, что электрик снимал отдельный номер. Я произвел там обыск и на верхней полке зеркального шкафа, который занимал треть крохотной комнаты, нашел пропавший браслет. Он был аккуратно завернут в веленовую бумагу.



Теперь не оставалось сомнений — браслет был украден не электриком, а парикмахершей. Электрик вообще не имел доступа в рулот, и его появление там было бы замечено всеми. Скорее всего, он даже не знал о краже — его подруга вошла в номер, когда он спал или же отлучился на минуту за сигаретами, и спрятала браслет в шкаф.

Я позвонил актрисе и все ей рассказал. Она поинтересовалась, намерен ли я арестовать Аиду. Ну, я ответил, что вообще-то по закону обязан это сделать. Но, поскольку синьора еще не вручила мне официального заявления о краже, дело можно уладить по-иному. Если синьора согласна публично заявить, что браслет не был украден, а был ею потерян, и теперь пропала нашлась, привлекать Аиду к суду не потребует. Актриса поблагодарила меня и попросила никому не

говорить о случившемся. Еще она спросила, не могу ли я привезти браслет к ней в гостиницу ровно в восемь — она будет ждать меня в своем номере.

Понимаешь, Марио, меня совершенно поразили ее хладнокровие и самообладание. Я с трудом верил услышанному. Ведь только утром она в сильнейшем волнении, словно разъяренная тигрица в клетке, мерила шагами рулот. Она нервно комкала в руке платок и то рыдала, то кричала так, словно ей нанесли смертельную обиду.

«За что, за что мне такое горе?! Я никому не сделала зла. Все — рабочие, техники, девушки — видели от меня только добро. Нет, они далеко не святые. Украл кто-то из труппы. Да я его на каторгу упеку! Таких негодяев надо стрелять!» А тут, едва я ей сообщил, что нашел браслет, и ска-

зал, кто вор, онаотреагировала на это совершенно неожиданным образом: спокойствие, выдержка, короткая просьба о приезде. Я ничего не мог понять.

В условленное время я громко постучался в дверь номера. Закутанная в розовый капот, актриса сидела в кресле, спиной ко мне. Увидев меня в трехстворчатом зеркале, она поздоровалась, не переставая любоваться своим красивым лицом. Рядом с ней стояла ее парикмахерша, Аида. Она делала своей хозяйке... как это называется?

— Укладку.

— Вот-вот. Как ты угадал?

— Очень просто. На съемках актрисы каждый вечер обязаны делать укладку. Обычно каждая актриса весьма дорожит своей личной парикмахершей. Ведь найти хорошую, умелую парикмахершу совсем нелегко.

Джиджи улыбнулся.

— Знаешь, Марио, я человек неученый и в этих делах разбираюсь плохо, но я сразу понял, что прическа — дело тонкое. И хотя не трудно было сообразить, что синьоре не хочется терять парикмахершу, должен откровенно признаться — дальнейшие действия этой удивительной женщины, прямо-таки чудовищной в своем хладнокровии, застали меня врасплох.

Мадам усадила меня в кресло и любезно угостила сигаретой. Затем по телефону заказала аперитив. Аида продолжала трудиться над прической. Мальчишка из бара принес аперитив. Актриса вежливо беседовала со мной. Аида-парикмахерша старательно избегала моего взгляда. Я заметил, что у нее все сильнее дрожат руки. Внезапно кинозвезда ударила Аиду гребнем по локтю, встала и сказала:

«Хватит, Аида, довольно! Сегодня у тебя ничего не получается. Марешалло<sup>1</sup>, будьте добры, дайте мне браслет, который эта несчастная осмелилась у меня украсть!»

Я вынул из кармана браслет и протянул актрисе. Та развернула веленовую бумагу и при-

нялась внимательно разглядывать на свет свое сокровище, проверяя, целы ли все, даже самые мелкие, бриллианты. Аида побледнела как полотно. Расширенными от ужаса глазами она глядела то на меня, то на свою хозяйку не в силах проронить ни слова. Я подумал, что сейчас она упадет в обморок. Но секунду спустя, когда кинозвезда направилась к кровати, девушка бухнулась ей в ноги и отчаянно закричала:

«Синьора! Синьора! Простите меня! Я подлая, но не губите меня. Я все, все расскажу. Пожалуйста, моя мать больна раком, отец безработный, один брат в тюрьме, другой — в сумасшедшем доме».

«Перестань, дай мне пройти. Потом расскажешь. Синьора марешалло не интересуют твои глупости. Простите, синьор марешалло, но, с вашего позволения, я прилягу. Если бы вы знали, как я устала».

Она села на край кровати и затем легла, откинувшись на гору подушек. Заггла ночничок на туалетном столике и надела на запястье свой драгоценный браслет. Аида, распластавшись на полу, не переставала рыдать и молить о прощении. И тогда актриса сказала:

«Э, Аида! Кончай ныть. Надеюсь, ты хорошо поняла — достаточно одного моего слова, и синьор марешалло упечет тебя в тюрьму на пару годиков. И тогда прощай свобода. Но

я... я... посмотри на меня, Аида, не произнесу этого слова. Однако ты...»

Заплаканная девушка приподнялась с полу и с надеждой посмотрела на хозяйку.

«Синьора, я на все согласна».

«Тогда вставай и подойди к письменному столу. Так, отлично. Возьми лист бумаги и ручку. Пиши то, что я тебе продиктую:

«Уважаемая синьора, такого-то числа, в присутствии старшины карабинеров я признаюсь в том, что украла у вас браслет стоимостью в десять миллионов лир. Одновременно признаю, что вы в своей безмерной доброте согласились меня простить. И потому, сознавая свою некупимую вину, я готова верно служить вам. Всю жизнь, если вы того пожелаете. Я достойна лишь целовать следы ваших ног».

Эту фразу напиши три раза подряд. А теперь поставь свою подпись».

Она хотела заручиться и моей подписью, но я отказался. Сказал, что устав запрещает мне подписывать частные документы. Честно говоря, меня потрясли жестокость и расчетливость этой женщины. Я не чаял, когда наконец смогу сесть в свой «джип» и поехать к жене. Только там я снова поверю, что далеко не все женщины чудовища.

Джиджи облизнул губы, словно у него пересохло в горле. Мы допили коньяк. Джиджи налил минеральной воды и одним глотком осушил бокал.

— Значит, это верно?

— Что именно? — не понял я.

— Будто та девушка, Аида, стала служанкой, а вернее, рабыней кинозвезды?

— Да, это правда. И куда бы наша актриса ни отправилась на съемки: в Голливуд, Лондон, Токио, на острова Полинезии — Аида следует за своей госпожой, представляешь, с того времени прошло десять лет! Но в одном, Джиджи, я с тобой не согласен — наша общая знакомая не кажется мне особенно жестокой и расчетливой. Скорее она несчастная женщина, и ее психология типична для многих синьор Италии. Она не верит никому и ничему, кроме смерти и денег.

Перевел с итальянского  
ЛЕВ ВЕРШИНИН



<sup>1</sup> Марешалло — старшина карабинеров (итал.).

*Музей  
Дорожного транспорта  
на станции в Ленин  
Васильевский Попов  
и шариковый свисток*

**Железные дороги**

**Россия.**

ИЗДАНИЕ  
О-во «КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»  
А. ИЛЬИНА

Цена 10 руб.

# АТЛАС

# ЛЕНИНА

А. ШАМАРОВА, наш спец. корр.

## КАРТА XXI - ДОНБАСС

**Ш**ли последние дни 1919 года. Республика Советов жила радостью бесспорных и повсеместных военных успехов. Но именно в эти морозные декабрьские дни особенно остро чувствовалась хозяйственная разруха в стране. Замершие заводы и фабрики, мертвые паровозы на занесенных снегом железнодорожных путях и в промороженных насквозь депо. «...Топливный кризис грозит разрушить всю советскую работу, — говорилось в письме «На борьбу с топливным кризисом», составленном В. И. Лениным, — разбегаются от холода и голода рабочие и служащие, останавливаются везущие хлеб поезда, надвигается именно из-за недостатка топлива настоящая катастрофа».

Спасение — в угле. Поэтому с таким ожесточением рвутся в бой части нашего Южного фронта. Поэтому с таким нетерпением ждут в стране каждую весть об их продвижении к Донбассу.

В эти дни атлас «Железные дороги России», атлас, который постоянно лежит на столе в кремлевском кабинете Владимира Ильича Ленина, часто раскрыт на предпоследней, XXI карте — «Донецкий район».

Военный телеграф принес в Москву экстренное сообщение Реввоенсовета Южного фронта:

«В боях 20-го декабря на переправах через Северный Донец конной армией Буденного наголову разбита конная группа противника в составе частей Мамонтова, Шкуро и Улагая и сводной уланской дивизии генерала Челнокова... Нами заняты станции «Несветовичево» и Лисичанск. Мост через Донец исправлен. Наши передовые части вступили непосредственно в угольный район».

Телеграмму немедленно передали в редакции центральных газет. Метранпажи еще возлились над металлическими четырехугольниками завтрашних газетных полос, когда в Москву, в Кремль, пришло новое сообщение с Южного фронта:

«Кроме ст. «Несветовичево» и Лисичанска нами взяты еще «Переездная» и «Лоскутовка».

Телефонограмму тотчас принесли Ленину. Владимир Ильич раскрыл атлас железных дорог, склонился над ним. Переездная? Лоскутовка? На карте Донецкого района эти станции обозначены не были. Они должны быть вот здесь, к северу от узловой станции Попасная... На светлом поле карты Ленин написал: «Лоскутовка», «13 верст», «9 верст», «[около ст. Попасная] 22 версты».

Ленин взял бланк сообщения, исправил опечатки в названиях станций, сделал внизу примечание: «Лоскутовка в 13 верстах от Камышевки, в 22 верстах от Попасной. Прим. ред.», — и тут же, на бланке, написал: «В печать по телефону».

Просматривая подшивку «Известий ВЦИК», я нашел это сообщение с поправками и примечанием Ленина. В номере за 24 декабря 1919 года, на первой странице. Под постоянной рубрикой «Красный фронт».

Пометки в атласе железных дорог, связанные с этим документом, распахивают перед нами дали нового путешествия. Путешествия, нацеленного в ту же сторону, что и наступательный порыв красноармейских частей на исходе 1919 года, — на юг, в самое сердце угольно-металлургического Донбасса.

Погасшие домны, шахты, залитые подземными водами, разбитые машины, разграбленные запасы металла и угля — гигантским кладбищем предстал Донбасс перед глазами красноармейцев, когда они, выбив денкинецов из Лисичанска и Переездной, из Лоскутовки и других пунктов, вступили в угольный край. Ущерб, причиненный Донбассу интервентами и белогвардейцами, составил 300 миллионов золотых рублей... Семь из каждых десяти шахт были полностью выведены из строя. Из 65 домен кое-как работала одна — на заводе в Енакиеве.

Юзовка (нынешний Донецк), Макеевка, Горловка, Енакиево — отовсюду на помощь Красной Армии спешили отряды вооруженных рабочих. Они понимали, как важен Донбасс для страны. Их мысли были созвучны мыслям Ленина, который писал, что Донбасс, «это — центр, настоящая основа всей нашей экономики», что «это — не случайный район, а это — район, без которого социалистическое строительство останется простым добрым пожеланием».

Почти два года, отрезанные от Москвы, находясь под властью то кайзеровских оккупантов, то денкинцев, енакиевские рабочие оберегали свой завод, свою единственную работающую домну. Сколько выдержки, самоотверженности проявили они в это смутное время! То зайвится агент бывших хозяев — бельгийских промышленников, требуя передачи завода «законным владельцам». То нагрянет воинство какого-то атамана, требуя золото и обстреливая завод из орудий в наказание за невыплату «контрибуции»... Но завод не останавливался: металлурги ждали свою, настоящую власть. Даже заработную плату они получали из советского банка: дважды их представители пробирались через фронт в Москву и возвращались с деньгами для рабочих. Директором завода в это тяжелое время рабочие избрали Ивана Бардина, будущего выдающегося советского ученого-металлурга.

Енакиевский — бывший Петровский — завод стал как бы символом стойкости и верности революции пролетарского Донбасса. Его мы и изберем целью нашего путешествия.

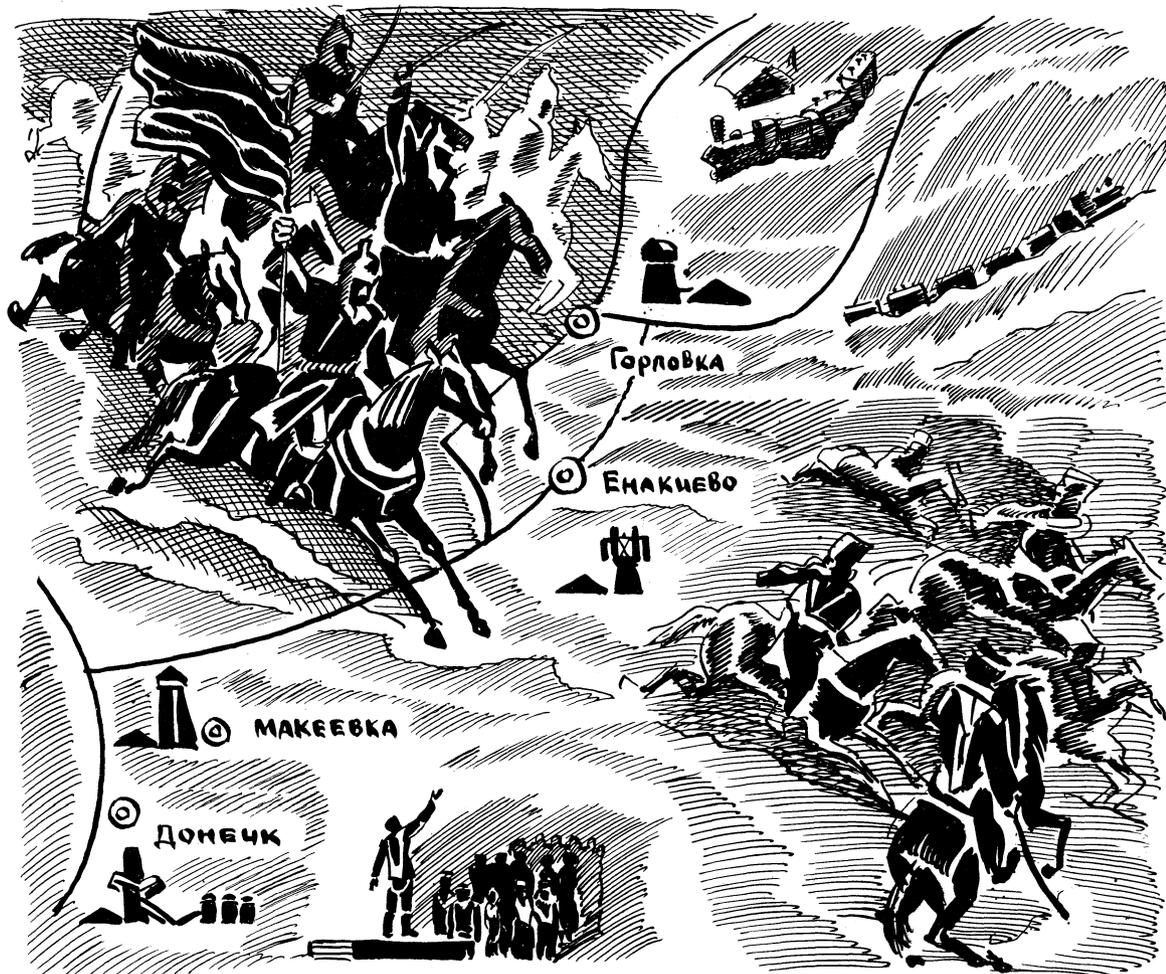
Донбасс... На каждую нить густой сетки шоссейных и железных дорог плотно нанизаны города и рабочие поселки, заводы и шахты. Города перерастают один в другой, сливаясь окраинами. Домны, трубы, кауперы, корпуса предприятий, гигантские конусы терриконов, огни сварки — не охватишь взглядом этот могучий промышленный организм...

Я еду в Енакиево. Мысленно продолжаю листать страницы толстых книг, дореволюционных журналов, архивных указателей, вспоминая открывшийся мне любопытный штрих из истории Петровского завода.

...Пыльным летом 1895 года на станции Волынцево забелели палатки инженеров, выросли склады, бараки для спешно нанятых землекопов и плотников. Только что основанное в далеком Петербурге «Русско-бельгийское металлургическое общество» начало строить здесь, неподалеку от станции Волынцево, огромный — по тем масштабам — металлургический завод вместе с двумя угольными шахтами.

Ровно через год, летом девяносто шестого, на строительстве Петровского завода появился молодой, коренастый человек с густыми, гладко зачесанными темными волосами и небольшой бородкой — учетчик изделий кузницы и столярной мастерской. Он подолгу разговаривал с рабочими и инженерами, присматривался ко всему острыми, прищуренными глазами. А вечерами запирался в своей комнатке, зажигал керосиновую лампу и до глубокой ночи писал, писал, писал...

«Казалось, какой-то страшный подземный перево-



рот выбросил наружу эти бесчисленные груды щебня, кирпича разных величин и цветов, песчаных пирамид, гор плитняка, штабелей железа и леса. Все это было нагромождено как будто бы без толку, случайно. Сотни подвод и тысячи людей суетились здесь, точно муравьи на разоренном муравейнике. Белая тонкая и едкая известковая пыль стояла, как туман, в воздухе.

На бумагу ложились строчки будущей повести Александра Куприна «Молох». Бесспорно, у «Молоха» не один прототип. Как репортер киевских газет, Куприн побывал и на металлургическом заводе в Юзовке и на рельсопрокатном в Дружкове. Но и Петровский завод, как удалось установить<sup>1</sup>, не остался в стороне от его маршрутов.

Кстати, в Енакиеве я познакомился с инженером Д. А. Свириком, проработавшим в городе почти четыре десятилетия. Он хорошо помнит, что еще в начале тридцатых годов здешние старожилы нередко вспоминали автора «Молоха».

Молох... Образ этого языческого божества — идола с телачьей мордой, на вытянутых ручищах которого заживо поджаривали приносимых ему в жертву детей, превратился под пером Куприна в символ капитализма. Ненасытный идол только на одном Петровском заводе пожирал, по подсчетам главного героя купринской повести инженера Боброва, двадцать лет человеческой жизни за сутки...

«Скоро с горы стал виден и весь завод, окутанный молочно-розовым дымом. Сзади, точно исполкинский костер, горел лесной склад. На ярком фоне огня суетливо копошилось множество маленьких черных человеческих фигур...» Так писал Куприн о рабочем бунте. Люди, уготованные в жертву Молоху, восстали и подожгли завод. Так было в повести, так было и в действительности: не прошло и года после пуска Петровского металлургического завода, как на нем вспыхнула первая забастовка...

В небольшом заводском музее я видел собранные по крупицам документы, фотографии, рассказывающие о революционном движении енакиевцев. Среди музейных реликвий — последнее письмо Григория Ткаченко-Петренко, руководителя пролетарского восстания в Енакиеве в 1905 году.

Память об этом герое хранит и город металлургов: на одной из центральных улиц, улице Ткаченко-Петренко, установлен бронзовый бюст революционера.

Я читаю и перечитываю последнее письмо Григория Ткаченко. Письмо, написанное им перед казнью...

Над Екатеринославом, большим приднепровским городом, распростерлась безмятежная, еще полетнему теплая ночь — ночь с 3 на 4 сентября 1909 года.

За массивными стенами губернской тюрьмы шли последние приготовления к казни. Восьмерых ра-

бочих-революционеров, осужденных еще в декабре прошлого года, сегодня должны были повесить в «обычном месте» — в пожарном сарае 4-й полицейской части. Закованных в кандалы смертников уже привели из камер в тюремную контору. Осталось дожидаться прокурора, врача и священника. Но они что-то задерживались, и тогда осужденным милостиво разрешили использовать несколько минут на предсмертные письма. Восемь голов склонились над листками бумаги. Восемь голов, для которых палачи уже прикрепили где-то неподалеку петли к потолочным балкам...

Одним из восьми был двадцатисемилетний лейтентик Петровского завода Григорий Ткаченко-Петренко.

И перед ним на замызанном, замазанном чернилами столе тюремной конторы лежит клочок бумаги — единственное из восьми предсмертных писем, которому суждено было в жандармской копии дойти до нас.

«Здравствуй и прощай, дорогой брат Алеша и все остальные братья-рабочие и друзья.

Шлю вам свой искренний привет и последний поцелуй. Я пишу сейчас возле эшафота и через минуту меня повесят за дорогое для меня дело. Я рад, что не дождался противных для меня слов от врага... и иду на эшафот с гордой поступью, бодро и смело смотрю прямо в глаза своей смерти, и смерть меня страшить не может...»

«...Я по убеждению социал-демократ и ничуть не отступил от своего убеждения ни на один шаг до самой кончины своей жизни. Нас сейчас возле эшафота восемь человек по одному делу — бодро все держатся».

По одному делу... На языке царского суда оно называлось так: «Дело о захвате революционерами линии Екатерининской железной дороги в декабре 1905 года». Поздней осенью бурного революционного 1905 года власть на Петровском заводе и во всем городке Енакиеве захватила вооруженная рабочая дружина. Командовал ею Григорий Ткаченко-Петренко. Огнестрельное оружие тайно привозили из других городов, холодное — выделывали сами, на заводе. Так было не только в Енакиеве, так было почти по всей Екатерининской дороге, являвшейся транспортным каркасом тогдашнего Донецкого края. Енакиевская полиция даже свои посты расставляла и перемещала по указанию рабочих дружинников-боевиков. На какое-то недолгое время целый промышленный район фактически сбросил самодержавную власть...

Казачьи и пехотные полки были двинуты со всех сторон на этот остров революционной свободы. На соседней станции — Горловке разгорелся настоящий бой между рабочими дружинами и карателями. Спротивление рабочих было сломлено, начались аресты. Был схвачен и Ткаченко-Петренко.

...Наконец вся троица, положенная по штату при исполнении смертных приговоров, собралась и прокурор, и врач, и поп. Начальник тюрьмы грубо поторопливал: «По-живей, по-живей!.. Ишь расписались!»

«...стража с каким-то удручающим ужасом смотрит на нас... им, наверное, кажется, что мы какие-то звери, что ли, но мы честнее их...»

У тюремщиков были все основания смотреть с ужасом на этих смертников, особенно — на Григория. Они помнили, как держался он в тюрьмах все это время — почти четыре года. Они помни-

<sup>1</sup> Среди весьма скудных документальных свидетельств я обратил внимание на два факта. Первый — сообщение друга писателя, Ф. Д. Ватюшкова, который упоминает, что Куприн некоторое время работал мелким служащим на одном из заводов Русско-бельгийской акционерной компании. Второй — свидетельство самого Куприна. В заметке, напечатанной в журнале «Огонек» (№ 20 за 1913 год), он говорил, что «...был заведующим учетом кузницы и столярной мастерской при сталелитейном и рельсопрокатном заводе в Волынцеве». По данным 14-го тома дореволюционного географического справочника «Россия» и «Горно-промышленного указателя Донецкого бассейна» (Харьков, 1901 г.), сталелитейный и рельсопрокатный завод возле станции Волынцев, принадлежавший Русско-бельгийской акционерной компании, и был Петровским заводом.

ли, что он выдержал семидневную голодовку и надзирателям пришлось на носилках отнести его в тюремную больницу. Они помнили, как он распространял казачью сотню, охранявшую тюрьму. Казаки слушали его, как наставника, получали от него тексты революционных песен, которые он записывал для них по памяти. Сотня отказалась встречать на вокзале командование, а потом, когда ее спешно выводили из города, подожгла свою казарму. Тюремщики знали, что эти восемь отвергли все попытки склонить их к подаче прошения о помиловании...

«Ну прощайте, уже 12 часов ночи, и я подхожу к петле, на которой одарю вас последней своей улыбкой... Писал бы больше, да слишком трудно, так как окованы руки обе вместе, а также времени нет — подгоняют... Конечно, прежде чем ты получишь это последнее письмо, я уже буду в сырой земле... Прощайте все и все дорогие и знающие меня».

Спустя месяц после этих трагических событий в Париже был отпечатан очередной, 49-й номер «Пролетария» — нелегальной большевистской газеты, главным редактором которой был Ленин. Вот что писал «Пролетарий» об екатеринославской расправе, о Григории Ткаченко-Петренко:

«Ему вместе с другими товарищами, стоявшими во главе Екатеринославской забастовки в великий 1905 год, пришлось испытать чашу до дна... Бесстрашно пошли они — восемь рабочих-героев — на смерть... Но они живы... Живы в памяти пролетариев, в неостанавливающейся пролетарской борьбе».

...Я долго не мог уйти из заводского музея. Слово кадры документального фильма, проходили передо мной свидетельства событий, приведшие к главному — свержению Молоха. И как естественное продолжение этой цепи событий вспомнилась слышанная мной история... О первом успехе завода, советского уже завода, и о письме Ленина, отметившего этот успех.

Среди рабочих Енакиева жила легенда о ленинском письме, которое привез им из Москвы директор Петровского завода большевик Иван Иванович Межлаук в трудный, голодный 1921 год. Александр Бек написал об этом рассказ «Письмо Ленина», закончив его словами: «Да и легенда ли это?»

И в самом деле — легенда ли это? Этот вопрос привел меня к молодому московскому инженеру Феликсу Межлауку, собирающему биографический материал о старшем поколении своей семьи — пяти братьях Межлаук. Феликс рассказал мне о своих поисках, о том, как удалось ему доказать реальность этой легенды.

Начал Феликс Межлаук с розысков воспоминаний «директора-распорядителя» Петровского металлургического завода И. И. Межлаука. В газете «За индустриализацию» от 7 ноября 1932 года он нашел небольшую статью И. Межлаука о том, как поднималась донецкая промышленность после гражданской войны.

Время было трудное. Из пяти домен Петровского завода работала одна — самая маленькая, прозванная «самоваром». «Кругом бродили шайки бандитов, — писал И. И. Межлаук. — Зачастую приходилось после дневной работы ночью с оружием в руках оборонять завод от налетов». И пехотный батальон, который директору разрешили привезти

с собой в Енакиево с фронта после разгрома Врангеля, не складывал оружия.

Но даже в этих нелегких условиях в апреле 1921 года горняки добились первой победы: суточная выработка забойщика на три пуда превысила выработку 1914 года. Докладывать о делах завода И. И. Межлаук и поехал в Москву, к Ленину.

— Владимир Ильич отметил этот успех горняков специальным письмом, — рассказывал И. Межлаук. — В письме он поздравил их с победой и подчеркнул важность их работы, важность электрификации Донбасса.

Значит, письмо было.

— Я был совершенно убежден в том, — продолжает Феликс, — что Иван Иванович, прекрасный пропагандист, не мог не опубликовать это письмо; вряд ли он довольствовался тем, что ленинское письмо читали вслух на рабочих собраниях в цехах и на шахтах. Скорее всего оно было напечатано в местной газете...

Удалось установить, что в те годы в Енакиеве издавалась уездная газета «Путь Советов». Скорее в Ленинскую библиотеку: там, наверное, хранится подшивка за лето двадцать первого года...

— Думал, что от ленинского письма меня отделяют всего пятьдесят минут, не более, — улыбается Феликс, — десять минут для того, чтобы добраться до библиотеки, и сорок — на срочный заказ...

Увы! Енакиевской уездной газеты «Путь Советов» за 1921 год в библиотеке не было. Из справочно-библиографического отдела стали звонить по другим московским фундаментальным библиотекам — газета нигде не сохранилась... Что делать дальше? Быть может, в Енакиеве в 1921 году выходила не только эта газета? Снова поиски в каталоге периодики... Да, в этом городке, в том же двадцать первом году издавали еще «Вестник рабочего правления Петровских государственных заводов и рудников».

Срочный заказ пошел в книгохранилище... И вот два номера енакиевского «Вестника» лежат на столе читального зала. Июльский номер. В оглавлении нет упоминания о письме Ленина...

— Я уже потерял надежду отыскать этот документ, — продолжает мой собеседник, — и стал просто так перелистывать журнал. В нем было очень много интересного. И вдруг на 43-й странице, в разделе трудовой хроники, я увидел заголовок, набранный жирным шрифтом:

**«Приветственное письмо т. Ленина к горнякам Петровского куста».**

«25-го мая 1921 г. Товарищам горнякам Петровского куста. Тов. Межлаук передал мне о большом успехе вашей работы за апрель месяц 1921 года: на забойщика по 294 пуда при 291 пуде в 1914 году. Шлю товарищам горнякам поздравление с редким большим успехом и самое лучшее приветствие. С такой работой мы все трудности преодолеем и электрифицируем Донбасс и Криворожский район, а в этом все.

С коммунистическим приветом  
В. Ульянов (Ленин)».

Так было найдено письмо, которое включено теперь в 43-й том Полного собрания сочинений В. И. Ленина.

Три пуда угля... В этом мизерном, с точки зрения сегодняшних дней, успехе Ленин увидел новое

отношение рабочего к своему труду: ненавистный Молох, ради чужих прибылей пожиривший рабочие жизни, стал теперь своим заводом, своей шахтой.

И еще один, самый последний штрих биографии Енакиевского завода. Я почерпнул его не в архивах — его принесли сообщения радио 26 октября 1968 года. В этот день на космическом корабле «Союз-3» стартовал в заатмосферную высь космонавт Георгий Береговой. Герой Советского Союза, бывший рабочий Енакиевского завода. Семнадцати лет, окончив восемь классов школы, начал он в

его цехах самостоятельный жизненный путь. Он работал электрослесарем на строительстве агломерационной фабрики... По возвращении из космического полета в беседе с енакиевскими газетчиками Георгий Тимофеевич говорил:

— На всю жизнь сохранились в моей памяти самые добрые воспоминания о заводе... Великая это школа — рабочий коллектив! Помню, что все курсанты нашего аэроклуба были рабочими.

От завода, который был прообразом «Молоха», — к заводу, который стал первой жизненной школой космонавта... Можно ли вообразить перспективу более символическую и воодушевляющую?

А. ОНЕГОВ

## ВЕСНА

Зимой никогда не встретишь густого черного цвета. Зима светлая, бело-голубая. И даже стволы темных елей кажутся зимой седыми и мягкими. И эта белая легкая тишина медленно и надолго опускается на лес, на поля, на крыши домов.

К концу зимы крыши домов поднимаются над бревенчатыми срубами большими белыми шапками. И из-под этих шапок осторожно поглядывают на низкое морозное солнце тихие зимние окна.

В мороз и солнце шапки домов кажутся легкими и высокими. В метель и ветер они низко опускаются на окна и больше походят на мохнатые теплые шали.

В середине февраля зимние шапки и шали становятся тяжелыми. А в марте, к весне, они сползают набок, назад, открывая солнцу деревянные крыши.

Крыши появляются на солнце теплыми и дымящимися. Легкий мутный дымок поднимается от сырых досок, и доски теряются, исчезают в этом тумане, как дрова в костре. Но вот костер догорает, догорает снег, и над белыми улицами, над белыми сугробами у заборов, над белыми полями поднимаются, как первые проталины, черные-черные крыши.

Крыши кажутся блестящими и живыми от растаявшего снега и тонких быстрых струек воды, что падают вниз, в снежные канавки у стен дома.

К вечеру вода в канавках замерзает, становится мутным, наплывшим льдом, похожим на воск от сгоревшей свечи. Крыши теряют краски весны, краски ожившей земли и первых грачей, тоже затягиваются ледком, и в этом прозрачном ледяном зеркале всю ночь горят, искрятся крупные мохнатые звезды последних мартовских морозов.

Снег ушел со льда, растаял, расплавился и отступил к берегам. Озеро ожило, зашевелилось и приподняло над холодными белыми сугробами берегов синий-синий лед.

На чистый лед опустилось солнце и раскололо тяжелые ледяные пласты широкими глубокими трещинами.

На солнце трещины кажутся теплыми и белыми. Когда солнце опускается за ели, трещины закрываются и становятся такими же синими, как лед.

С каждым днем трещин на озере больше. В трещинах больше воды. И эта вода уже не застывает, она встретилась с водой озера, и лед вдруг распался, разошелся на большие и маленькие острова.

Острова на озере темные. Голубой цвет сухого льда исчез — его вымочила, смыла вода. И теперь тяжелые намокшие льдины медленно плывут к истоку реки.

У входа в реку льдины останавливаются, снова собираются в замерзшее озеро, и по этому замерзшему озеру-льдинам степенно выхаживают серые вороны. Вороны что-то выклевают изо льда. Когда ворона ударяет по краю льдины, лед крошится и падает в воду.

Вот вороны что-то почуяли, расселись по берегам. Лед вздрогнул, зашевелился и пошел. Льдины ударяются друг о друга. Края льдин крошатся и поднимаются над водой высокими блестящими ледяными столбиками. Столбиков много, они вспыхивают на солнце, расходятся в разные стороны и раскрываются большими белыми цветами.

Цветы тут же отцветают, ледяные лепестки падают в воду, намокают, темнеют и становятся совсем незаметными в мутной воде.

Вчера на краю леса зацвела черемуха. Она занялась белым теплым огнем. Огонь горел всю ночь, а сегодня утром перебрался на соседние кусты, разошелся по загоркам и остановился только у елового лога. В еловый лог черемухе не пустил снег, глубокий сырой снег, оставшийся от зимы.

Еще совсем недавно этот снег был жестким и льдистым, и над ним поднимались в утреннем морозе холодные и фиолетовые стволы елей.

Но мороз ушел, ели ожили, фиолетовый цвет растаял, стал коричневато-бархатным и теплым. Начал плавиться снег. Он оседал, растекался по земле и вдруг занялся густым душным дымом.

Дым затянул пни, низенькие елочки и стволы деревьев. За дымом эти стволы казались мутными и прозрачными. Дым полз по земле, по рыхлым горячим сугробам, смешивался с новым дымом и виля-виляя вокруг тоненького куста еще не распутившейся черемухи.

Дым становился гуще, в дыму терялись стволы, ветки, и казалось, черемухи никогда больше не будет, казалось, она сгорит совсем вместе со снегом.

Но вот солнце поднялось выше, дым осел, и вместо снега осталась на коричневом мху тоненькая блестящая пленочка воды, и в этой воде — опавшие за зиму еловые иголки.

Блестящая пленочка разлилась широко и чисто, и в ней вдруг засветился легкий белый огонек только что распутившейся черемухи.



*Медресе Тилля-Кари, одно из тех зданий Самарканда, красота которых позволила древним поэтам назвать город «Руи заминаст» — «Лицо земли» (фото А. ГОРЯЧЕВА).*

## **ПАМЯТЬ О ПЕРВОМ ДНЕ**

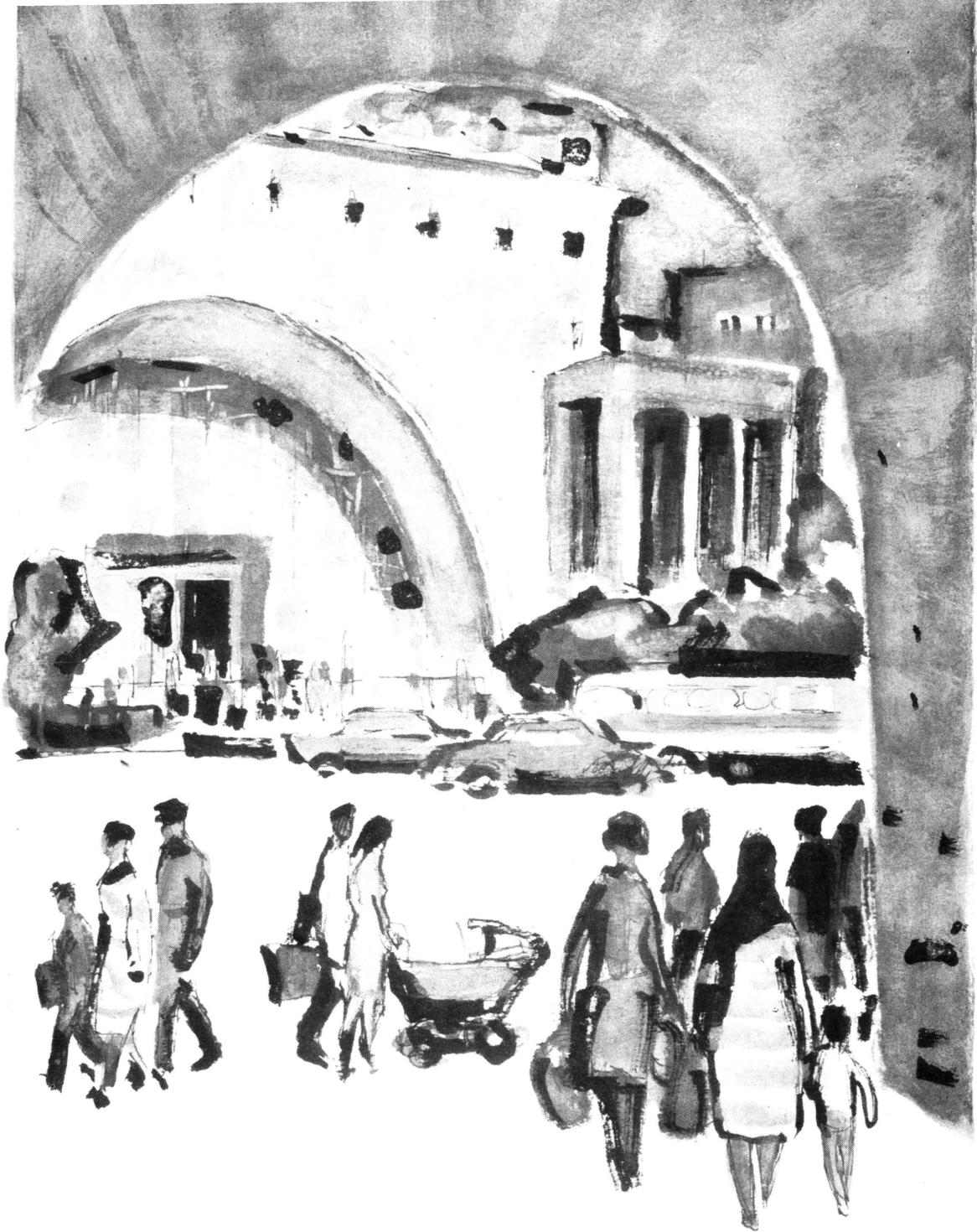
**П**о-разному начинались города. Одни вставали на перекрестке караванных путей — на базарах и торговых площадях этих городов звучала разноязыкая речь, и можно было увидеть в их лавках и караван-сараях меха гиперборейские и алмазы полуденные, шелка Востока и узкогорлые сосуды с прохладным вином Сре-



диземноморья. Другие поднимались в безлюдных дотеле пустынях, там, где сквозь песок просачивалась ключевая вода; и изнуренный зноем странник всегда мог утолить жажду и отдохнуть в тени городских стен, благословляя того, кто первым пришел сюда навсегда.

Одни города словно выходили

*Само название этой некогда грозной и неприступной крепости символично: дер — ворота, бенд — застава. Дербентская крепость была главной цитаделью грандиозной оборонительной системы, идущей в обход Кавказских гор вдоль побережья Каспия. (Фото В. АРСЕНЬЕВА).*



*Одна из улиц солнечного Еревана  
(рисунок А. ТАРАНА).*

из моря — первыми жителями их были отвыкшие от твердой земли аргonautы, бросившие все, чтобы заглянуть за горизонт в поисках новых берегов, чудес и золота. Другие вырастали на земле, что таила в себе камень, который мог гореть и литься металлом для мечей и серпов... По-разному начинались города.

По-разному складывались их судьбы, но нет таких, которые не хранили бы память о своем первом дне...

В 1916 году на Ванской скале нашли каменную летопись урартского царя Аргишти I. На пятом году своего царствования, а именно в 782 году до нашей эры, Аргишти основал крепость Эребуни и поселил в ней шесть тысяч шестьсот воинов — так говорила летопись. Но где же была построена сама крепость? Не ею ли начался Ереван? Этого никто не мог сказать до 1950 года.

В этом году производились раскопки на холме Арин-берд, что возвышается на окраине Еревана. Извлечь сразу все великолепные фрески, сохранившиеся на древних стенах, было невозможно, и тогда археологи решили засыпать уже открытое землей, доверить ей хранить еще год фрески, как она хранила их много веков. Рядом лежала базальтовая плита, которая мешала брать землю. Решили отодвинуть ее или убрать совсем. Подложили ломы, свернули плиту и на обратной стороне обнаружили клинопись, ясную и четкую: «Бога Халди величием Аргишти, сын Менуа, эту мощную крепость построил, установил для нее имя Эребуни, для могущества страны Биайны и для устрашения вражеских стран».

Теперь надо было сравнить летопись, найденную на Ванской скале, с прочитанной клинописью. Факты совпали. Да, Эребуни — это первое название Еревана, и город был основан в 782 году до нашей эры. Так Ереван нашел свой год рождения и вот почему отпраздновал свое 2750-летие...

Древнейшие источники даже не обмолвились о времени создания города. Существовала легенда, и в ней говорилось, что Дербент основал Александр Македонский. Он же и возвел стену, и она доходила будто бы до самого Черного моря. Но... Александр Македонский никогда не был в этих местах.

Некоторые средневековые историки утверждают: оборонительные сооружения Дербента строили три персидских царя: Иездигерд II, Кобад и Хосров I Ануширван. Так вслед друг за другом они и возводили дербентские укрепления. Но, видно, и сами древние хронисты не знали этого точно — свидетельства их путанны и противоречивы. Долго

ученые искали свидетельства, которые принадлежали бы времени самого строительства. И нашли — этими свидетельствами были остатки самих укреплений.

На стенах было много надписей. Большинство из них говорило одно: «Это и откуда вверх в 700 году сделал Барзниш, сборщик податей азербайджанский». «Это» — дербентские укрепления. А значит, и город?

Оказалось, что нет. Дата в надписи читалась учеными разно. Одни утверждали, что ее следует считать 453 годом нашей эры, другие — 567-м.

Но археологические раскопки показали, что эти стены были поставлены... взамен более древних, возведенных, по-видимому, Иездигердом. Иездигерд правил Персией в середине V века. Значит, стены Барзниша почти на столетие моложе Дербента. И дальнейшие поиски открыли, наконец, год Первого Дня Дербента — 438-й, год начала правления Иездигерда.

...Все глубже погружались археологи в землю и тайны Афрасиаба, древнего городища на окраине Самарканда. И однажды среди находок, которые здесь бесконечны, блеснул трехгранный бронзовый наконечник стрелы. Он лежал среди обломков сосудов. Так стрела, прилетевшая из прошлого, решила долгий спор о возрасте Самарканда, города, который существовал «со времен неведения», как Вавилон и Фивы, как Афины и Рим.

Такие стрелы были на вооружении у лучников в V—IV веках. И значит, Самарканду не меньше двух с половиной тысяч лет...

По-разному начинались города. По-разному складывались их судьбы. Многие из тех городов, что были когда-то украшением земли, стоят одинокими руинами среди пустынь и джунглей. Мы рассказали о том, как нашли свой день рождения города, что прошли сквозь тысячелетия, не старея, — города, обретшие за годы Советской власти вторую, нескончаемую молодость. Перед вами фрагменты портретов этих городов: Еревана — столицы Армянской Советской Социалистической Республики, Самарканда — крупнейшего центра социалистической культуры в Средней Азии, и Дербента — второго по величине города Советского Дагестана.

Ю. СТЕПАНОВ

## ДИНОЗАВРЫ НА ХОККАЙДО

Ключий ветер свистнул, провёл шершавой ладонью — и все замерло. Лишь люди темными муравьями суегались среди снежных глыб, огромных, как динозавры. Впрочем, динозавры там действительно были. И еще разные боги, демоны и самый «представительный» из них — улыбающийся Айцен Мио-о, бог — хранильщик любви.

Впервые эти «чудо-юдо» появились в Саппоро, столице острова Хоккайдо, самого северного из японских островов, лет двадцать назад.

Отцы города томилась в раздумьях. Каждый год, когда задуют северные ветры, снежная пелена плотно укутывала Саппоро и город вымирал. Улетали на юг быстрые стайки туристов, закрывались гостиницы, свертывалась торговля.

Любой из проектов оставался воздушным замком. И тут кому-то пришла в голову мысль: а почему, собственно, не начать строительство этих самых замков? Из чего? А из снега. Это уж на Хоккайдо хоть отбавляй. Материал, кстати, податливый и прочный. Пока держится холода.

Провели первый снежный фестиваль.

Особых надежд на затею не возлагали, и вдруг на следующий же год — пятьдесят тысяч гостей с других островов!

Теперь каждую зиму, когда северные ветры несут достаточное количество «стройматериала», рабочие в касках — как никак идет строительство, надо соблюдать правила безопасности — возводят новый город. Точь-в-точь «сахарный город» из сказки — помните, тот самый, с пряничными домами и мостовыми из леденцов, переливающимися игольчатыми искрами.

Однако, как и следует быть, с первым теплом застывшая улыбка Айцен Мио-о начинает оплывать, и все его подданные в «сахарном городе» принимаются таять. Именно тогда, когда к ним успевают привыкнуть. Обидно видеть, как тают на глазах снежные замки, снежные паровозики и динозавры. Поэтому их разбирают — точно так же строители сносят старый дом, чтобы на его месте построить новый. Когда подуют северные ветры...





# СТАРИКИ

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

I

**С**начала ничего не было. Только дождь — тихая упрямая холодная морось, да серый недружный ноябрьский рассвет, да голоса гончих, ушедших на зарю, чуть слышные в промозглой предутренней мгле, да Сэм Фазерс, стоящий чуть сзади мальчика, — так же как в тот, самый первый раз, когда мальчик убил своего первого кролика — выстрелил из нового и непробанованного ружья.

Потом Сэм положил ему руку на плечо, и мальчик задрожал — но вовсе не от холода. А потом на

поляне оказался олень. Не вышел из чащи, не возник как призрак, а вот он, перед ними — сгустивший свет; пробрезжил сквозь дождь, брызнул лучом — и стелется вдаль; и так всегда: в то, казалось бы, неделимо короткое мгновение, когда ты посмотрел, олень уже видел, мгновение раздроблено — он заметил тебя раньше, успел и уже распластался над землей в первом скользящем усилии бега, и в дымке рассвета покачивается меж кустами плетенье рогов над замкнутой головой, плывет, словно маленькое кресло-качалка.

— Быстрой, — сказал Сэм. — Не дергай. Плавно.

Мальчик не услышал, не запомнил выстрела. Он доживет до восьмидесяти лет, как его отец, и брат отца, и дед в свое время, но выстрела не вспомнит. Он даже не знал, куда дел ружье. Помнит — бежал. Потрясенный и дрожащий, стоял над оленем — тот застыл в страстном стремлении вперед, лежал как живой на влажной земле, и Сэм Фазерс спокойно вынимал нож и опять стоял позади мальчика.

— Не лезь к нему спереди, — сказал Сэм. — Размолотит в труху передними копытами. Заходи сзади, чтобы взяться за рога. Если он не умер — прижмешь ему голову и успеешь отпрыгнуть. Другую руку — вниз, зажми ему ноздри.

Мальчик сделал, как сказал Сэм: отогнул оленю голову — горло напряглось — и Сэмовым ножом он резко полоснул по натянутой шкуре, и Сэм нагнулся к тугой струе и окунул руки в дымящуюся кровь, распрямился и вытер их о мальчишечье лицо.

Звук рога победно раскатился по лесу — еще и еще меж влажных стволов, бурлящей волной нахлынула свора, но Джим и Бун разогнали собак, после того как каждая отведала только что пролитой крови, и подыехали мужчины, признанные охотники: майор де Спейн, и генерал Компсон, и Вальтер Юэл, бывший без промаха, и двоюродный брат мальчика Маккаслин, старшой, скорее родной, чем двоюродный, — с детства, с тех пор как мальчик родился, когда его отцу подкатило под семьдесят; скорее отец, чем двоюродный брат, и больше отец, чем кто бы то ни было; и, не спешиваясь, охотники смотрели на них: на старика, негра во втором поколении, даже сейчас, в семьдесят, — воина, сына вождя племени чикессо, и на белого мальчика двенадцати лет, с отпечатками кровавых пальцев на лице, которому надо было стоять прямо и скрывать сотрясавшую его дрожь.

— Как он вел себя? — спросил Маккаслин.

— Нормально вел, — ответил Сэм Фазерс.

Они стояли — белый мальчик, причастившийся жизни на веки веков, и наследник двух первобытных родов, темнокожий старик — потомок королей, окровавленными руками отметивший мальчика, совершивший формальный обряд посвящения в сан, который мальчик давно уже принял под руководством Мужчины, семидесятилетнего вождя, — смиренно и радостно, и с гордостью самоотречения. Прикосновение пальцев, смоченных кровью — первой, настоящей, пролитой мальчиком, навсегда объединило его и учителя, и мальчик будет жить, становясь взрослым, ему исполнится семьдесят и восемьдесят, и старик не умрет даже после того, как сойдет в землю вслед за своими предками — королями и вождями, воинами и рабами — в землю, которой владели его праотцы задолго до того, как пришли белые и стали жить на той же земле, причащаясь жизни, как причастился мальчик, продолжаясь в потомках, основывая роды, получая в наследство землю и кровь расы, которая уходила с Сэмом, умирая в нем, одиноком и бездетном, неотвратно и безвозвратно.

Его отцом был сам Иккмотуббе, вождь, который называл себя Дуум. Сэм рассказывал мальчику об этом — о том, как Иккмотуббе, племянник Иссетибехи, в юности добрался до Нового Орлеана и вернулся обратно семь лет спустя с приятелем, кавалером Сье Блон де Витри — так именовал себя этот француз — Иккмотуббе какой-то французской семьи; а Иккмотуббе он тогда уже величал *Du Nottme*; так вот: вернулся он, возвратился домой

с квартировкой<sup>1</sup>-рабыней (она и родила потом Сэма Фазерса), в одежде, в шляпе, расшитой золотом, и привез табакерку с белым порошком, очень похожим на сахарную пудру, и ящик из-под виски с выводком шенят, и на берегу Реки его встретили друзья: трое или четверо приятелей юности, и мерцали, вспыхивали дымные факелы, высвечивая золото на его одежде, на шляпе, и Дуум тут же, на берегу Реки, присел на корточки, вынул шенка, достал табакерку и дал шенку лизнуть белого порошка, и шенок издох прямо у него в руках, и все пошли в поселок (а Иссетибеха уже умер, и двоюродный брат Дуума, Моккетуббе, должен был унаследовать титул вождя). А на следующее утро сын Моккетуббе, восьмилетний мальчишка, внезапно умер, и днем Дуум в присутствии Моккетуббе и других (Племя — называл их Сэм Фазерс) вынул еще одного шенка из ящика и дал ему лизнуть своего порошка, и шенок умер у него в руках, и Моккетуббе тут же отказался от своих прав, и Дуум фактически стал вождем — Человеком, как давно уже величал его Француз, а на следующий день Дуум, вождь, объявил о свадьбе беременной квартиронки и раба, негра, доставшегося ему в наследство (вот почему Сэм получил свое имя — Фазерс, что на языке племени чикессо значит Имеющий Двух Отцов), а через два года продал их всех — квартиронку, раба и родившегося ребенка белому соседу Карозерсу Маккаслину.

Это было семьдесят лет назад. Сэм — невысокий, скорее коренастый, с гривой волос без единой сединки, а мальчик знал: ему под семьдесят, но, казалось, эта грива не поседеет и в восемьдесят, вялый с виду, но только с виду, с лицом, по которому не угадаешь возраста, пока человек не начнет улыбаться, — был совсем не похож на негра; разве что немного тусклые волосы да ногти выдавали в нем негритянскую кровь, да глаза: какое-то ускользающее выражение, не цвет, не форма, а именно выражение: мелькнет — даже и не выражение — проблеск, и Маккаслин объяснил мальчику: неволя; нет, печать не рабства, а оков, ощущение, что в тебе есть кровь невольников. «Ну, вроде старого льва или медведя, — говорил Маккаслин, — выросшего в клетке. Он и не знает ничего, кроме клетки, здесь он и родился, и провел всю жизнь, и вдруг он почувствовал, почуял что-то: так, дуновение, легкий ветерок пролетел над лесом и заглянул к нему в клетку, но на миг зашумели, зашептали заросли, зашуршали, надвинулись раскаленные пески... Даже не почувствовал (он ничего этого не знает и, наверное, не узнает, если и увидит), а только дрожь, — пробрезжило и ушло; но не совсем, не бесследно: осталась клетка. Улепетнул ветерок, замолкли заросли, умерло горячее дыхание песков, и в ноздри ему бьет запах железа, которого он просто не замечал раньше. И в глазах у него затаивается горечь неволи».

«Так отпустите его! Отпустите!» — закричал мальчик.

Маккаслин коротко рассмеялся и осекся, и это был не смех — только звук, захлеб. «Ему не Маккаслины выковали клетку, он первобытный, понимаешь? — первородный, прямой потомок воинов и вождей, в его крови бушуют инстинкты, которые давно уже уснули в нашей, подавленные совместной и тесной жизнью, — так давно, что мы забыли о них; а в нем кипят, слились воедино страсти двух

<sup>1</sup> Квартиронка — родившаяся от мулатки и белого. (Прим. пер.)

первозданных племен, и он вырос, узнавал жизнь и однажды понял — внезапно, с яростью, что он был предан: воины и вожди, предки, праотцы его были преданы. — Не отцом, — быстро сказал Маккаслин, — он верил, что был предан раньше, чем продан: матерью, наградившей его кровью черных — не кровью, не расой черных был предан, не матерью, а пуганицей, безысходной пуганицей: тем, что мать (а значит, все-таки предала) передала ему по наследству кровь рабов, смешанную, слившуюся с кровью поработителей, вырастила монумент, памятник победителям, заключенный в мавзолею его сгубленной воли. Нет, не в нас дело, — сказал Маккаслин. — Видел ты хоть раз, чтоб он обратил внимание, если кто-нибудь, ну там твой отец или дядя скажут ему: сделай то или это? — никогда он не послушается, просто не услышит».

Это было правдой. Мальчик так и запомнил Сэма: сидит перед кузницей полдня, день, просто сидит и ничего не делает, и никто: ни отец мальчика, ни дядя, ни Маккаслин — даже когда он сделался хозяином (правда, тогда его еще не называли «хозяином») — не скажет ему: «Сэм, это надо сделать к вечеру», или: «Сэм, почему ты это не сделал вчера?» (Сэм затачивал лемехи плугов, чинил всякий мелкий ручной инвентарь, иногда работал плотничьи поделки), даже если кузница ломится от работы и в поле ждут непочиненную борону. А раз в году — осенью, в ноябре, мальчик видел: подъезжает фургон (парусиновый верх поднят, натянут на обручах), груженный едой — ветчиной, окороками, мукой, мексиканской тушей — вчера забитый бык — для собак, пока в лагере не появится мясо; сами собаки в загоне-клетке; постели, ружья, топоры, фонари; и Сэм Фазерс и Маккаслин забираются в фургон, чтобы ехать в Джефферсон — прихватить Юэла, майора де Спейна, генерала Компсона, Буна Хоггенбека и ехать дальше, к Большому Каньону — в оленьи и медвежьи дремучие места. Они уезжали на две недели, но прежде чем фургон нагрузится, тронется, мальчик, бывало, уйдет, чтоб не видеть (нет, он, конечно, не плакал — держался), зайдет за угол и шепчет (но не плачет!): «Скоро. Теперь скоро. Только три года (или два, или один) — и мне будет десять, и Кас скажет, что я могу ехать».

Работа Сэма была работой белых. Потому что он не делал ничего другого: не обрабатывал надела, полученного по жеребьевке, как бывшие рабы Карозерса Маккаслина, не батрачил поденно, как молодые негры или негры, которые недавно приехали, и мальчик не знал, да так и не узнал, как они договорились — Сэм с Карозерсом или, может быть, с близнецами, сыновьями Карозерса. И хотя Сэм и жил среди негров, в негритянской лагуне, отдельно от белых, и одевался, как негры, и говорил, как негры, и даже похаживал в негритянскую церковь — все равно он оставался индейцем чикессо, сыном вождя племени чикессо, и негры, конечно, знали об этом. И давало мальчику, что не только негры. Потому что бабка Буна Хоггенбека тоже была индейкой чикессо, и, хотя Бун считался белым человеком, в его жилах текла и индейская кровь; да, но не кровь индейского вождя. Надо только глянуть на них обоих, когда они рядом, Бун и Сэм, — и разница станет совершенно очевидной, так по крайней мере казалось мальчику, да и Бун тоже смутно чувствовал ее, хотя и был неколебимо убежден в своем самом что ни на есть благородном происхождении. Встречались люди оборотистей, богаче (просто им повезло, говаривал Бун), но ни

в коем случае не благородней по крови. Бун был безрассудно предан де Спейну и Маккаслину Эдмондсу (и ел их хлеб) и слепо — своим желаниям и инстинктам. Именно Сэм, на взгляд мальчика, Сэм Фазерс, негр, держал себя с достоинством, встречаясь не только с де Спейном и Маккаслином, но с любым — пусть и неизвестным — белым, без той приниженной готовности покориться (застывшая улыбка и — «слушаюсь, сэр»), которая как непреступная и мертвая стена разделяла черных и белых людей, а с Маккаслином он разговаривал не только как равный, но как старший, умудренный опытом — с младшим.

Он обучал мальчика понимать лес, чувствовать, когда надо и когда не надо убивать, учил стрелять и разделять добычу. Они сживали и под яростными августовскими звездами, поджидая ушедший из слуха гон по лисе, и в промерзшем декабрьском лесу у костра, пока собаки добывали по следу енота, и на току в предзвездной апрельской тьме, знобкой от тяжелой студенной росы, — толкуя об охоте, о зверье, о людях. Мальчик никогда не задавал вопросов: Сэм не имел обыкновения отвечать. Бывало, они сидят, и мальчик ждет, и потом слушает рассказы Сэма — о былом, о людях, которых он не знал и которых поэтому, конечно, не помнил (так же как он не знал и не мог припомнить, видел ли лицо своего отца), о людях, чья кровь текла в жилах расы, сменившей, но не заменившей ту, ушедшую.

И все это было, и ушло, и умерло — люди и время, но Сэм рассказывал, и оно оживало — прошлым мальчика, и становилось настоящим, и оставляло следы, отпечатывалось на земле, в которую сошло и которую не покинуло, и никогда не покинет, и казалось, что ни он, ни люди пришедшей расы и расы, которую они привели с собой, не пришли, не утвердились на этой земле, хотя она и считалась собственностью его деда, потом отца, потом Маккаслина, а когда-нибудь станет и его землей, но собственностью эта была столь же беспочвенной, нереальной и бесцветной, как купчие крепости, хранившиеся в старых архивах Джефферсона, и мальчик, случайный пришелец и гость, слушал голос владельца, хозяина.

Еще недавно, три года назад, их было двое — оставшихся в живых, и другой — Джо Бейкер, чистокровный чикессо (он называл себя Джабекером — всегда в одно слово), жил отшельником в маленькой лагуне, промышлял для продажи рыбу и зверя, и в округе — миль, наверно, на пять — не было никакого другого жилья. Никто о нем толком ничего не знал, и люди не отваживались подходить к его хижине: Джабекер знает никого не хотел, белые или черные — ему было все равно. Только Сэм, бывало, заглядывал, наведывался к нему, в грязную лагуну у развилки реки, да Джабекер изредка захаживал к Сэму, — два старика, сидя на корточках, толковали на смеси негритянского жаргона и диалекта холмов — спокойно, неторопливо, вставляя в свою речь фразы из языка их предков, ушедшего, но не умершего, как не умирает время. И, сидя на грязном полу кузницы, мальчик слушал — начинал учиться. А потом Джабекер умер, вернее исчез, — и никто его больше никогда не видал (Сэма в это время не было в поселке — даже мальчик не заметил, когда он ушел и куда отправился, — просто пропал), и однажды негры, охотясь в долине, увидели внезапно расхлеставшийся огонь — в том месте, где стояла хижина Джабекера, сунулись посмотреть, да не для них, видно, горело: кто-то стал по



ним стрелять из-за кустов. Стрелял-то Сэм, но могоу Джабекера так и не нашли, не было могилы.

На следующее утро, завтракая с братом, мальчик глянул в окно и увидел Сэма (а никогда он раньше не подходил к их дому — только до кузницы, и ни шагу дальше). Мальчик даже перестал жевать. Потом за дверью послышался голоса, дверь открылась, и вошел Сэм, держа свою шапку в руках, но не постучавшись, сделал шаг, чтоб закрыть дверь, остановился и стоял, не глядя на них — индеец чикессо в одежде негра, — смотрел куда-то поверх их голов, вдаль, будто даже сквозь стены комнаты.

— Хочу уйти, — проговорил Сэм. — В Большой Каньон — там буду жить.

— В каньоне жить? — спросил Маккаслин.

— В вашем и майора де Спейна лагере. Присмотрю за домом, пока вас нет. А хотите — построю жилье отдельно, чтобы в доме не жить, мне все равно.

— А как же с Айком? — спросил Маккаслин. — Без него-то ты как? Возьмешь с собой?

Но Сэм все так же не смотрел на них, все так же стоял посредине комнаты, и по лицу его ничего нельзя было угадать — только возраст, да и то по улыбке.

— Отпустите, — сказал он. — Хочу уйти.

— Иди, — спокойно сказал Маккаслин. — Я договарюсь с майором де Спейном. Ты когда, скоро собирался отправиться?

— Сейчас, — сказал Сэм. Повернулся и ушел.

И все. Мальчику тогда было девять лет, и ему казалось совершенно естественным, что никто, даже его двоюродный брат, никогда и ни в чем не перерыл Сэму, и мальчик понимал: ему уже девять, и было достаточно ночей в лесу, и Сэм теперь может уйти безболезненно, и это временно, и оба знали: то, к чему Сэм готовил его всю жизнь, приближается, мальчик возмужал и призван, — они договорились еще прошлым летом, слушая заливающий гон в долине, сидя под яростными августовскими звездами, и тот разговор — ночью, в лесу, — был предзнаменованием, предсказанием сегодняшнего. «Я тебя выучил, — говорил Сэм; — ты знаешь охоту, понял лес, вырос, готов для Большого Каньона, справишься, сможешь — иди хоть на медведя. Промысловое, охотничье дело. Мужское. Через год тебе десять — возраст, время становиться человеком, и выйдешь, знаю. Отец (Сэм издавна говорил «отец», раньше чем мальчик стал сиротой, раньше чем опекуном Эдмонда Маккаслина, родственника, главы семьи, но не рода, превратилось в отцовство по прямой линии: двоюродный брат, предпоследний в роду, стал не только родоначальником и праотцем, но родным отцом по крови и духу) обещал взять тебя с нами, пора». И мальчик понимал, почему Сэм уходит, — выучил. Да, но почему так рано? В марте, за шесть месяцев до охоты?

— Ну вот, говорят, Джабекер умер, — сказал мальчик, — а Сэм почему-то уходит, а у него и близких осталось — мы, а мы поедем в Большой Каньон только через полгода. Почему так?

— А может, он знаешь чего хочет? — ответил Маккаслин. — От тебя отдохнуть.

Ну, это он знал, привык. Иногда взрослых не надо слушать. Говорят — а ты не обращай внимания. Как Маккаслин сейчас или вот Сэм — с этими его разговорами о Большом Каньоне. Ясное дело, он будет там жить. Не мотаться же ему все время туда да сюда: раз поехал и будет их ждать.

Сам же и говорил, что всему выучил. Выучил, и поехал, и будет их ждать. Все правильно. Лето, и потом заморозки — хрусткие такие дни, а потом ноябрь, и они с Маккаслином поедут в фургоне — холод, но они едут — и потом охота, а не детские игрушки, и он стреляет — и вот она, кровь: настоящая, зверья, и он теперь охотник, мужчина, а не мальчик, и никаких тебе учебных кроликов да опоссумов, и Сэм с ними, а потом вернется, и снова поедет, и будет зима, и разговоры о прошлых охотах у огня, и о будущих — охотничьи, мужские разговоры.

Ну, а Сэм отправился, ушел. И пожитков у него было — за раз унести. Отказался от фургона (Маккаслин предлагал), даже и верхового мула не взял. Никто и не видел, как он уходил. Просто однажды настало утро, а Сэма нет, и опустела хижина (хоть в ней и раньше не много всего было), освободилась, стояла никому не нужная, так же как кузница, — осиротевшая, брошенная...

Но вот пришел, наконец, и ноябрь, и мальчик с Маккаслином забрались в фургон, и вместе с Джимом подъехали к Джефферсону, и там их ждали майор де Спейн, и генерал Компсон, и Вальтер Юэл, и Бун, и дядюшка Эш, повар, и еще один фургон, и легкий шарабан, в котором поедет он и Маккаслин, и майор де Спейн, и генерал Компсон.

И Сэм ждал их приезда в лагере. И если он радовался встрече, то про себя. И если горевал, что они уезжают — потом, после охоты, через две недели, — то он и тут не показал виду. И не вернулся. И мальчик возвращался один. Осиротевший и одинокий — в фамильные владения, к мальчишеской своей доле и учебным кроликам, — на одиннадцать месяцев: до следующей охоты.

Но дыхание леса уже коснулось его души — только коснулось (слишком мал был срок), и все же мальчик увозил его с собой; не чувство страха, или ощущение опасности, или личной враждебности дремучих сил, но первозданное преклонение перед заповедной мощью: перед мудрым, непостижимым и необъятным исполином, допускающим гнома в свои владения — причаститься, пролить настоящую кровь.

А потом снова наступал ноябрь.

И Сэм каждое утро выводил мальчика и определял место — подстаивать зверя, и выбирал место пустое и недобычливое, потому что мальчику было только десять, потом одиннадцать, потом двенадцать. И он ни разу даже не видел оленя. Но каждый день ни выходящий на гон — Сэм стоял без ружья, чуть сзади мальчика, так же как и тогда, когда в восемь лет мальчик убил своего первого кролика, — выходили в редующую мглу рассвета, и ждали, и слушали, и иногда гон прокатывался рядом, густой и хлесткий, но всегда невидимый, и однажды рявкнула Бунова двустволка, из которой он никогда еще и никого не убил, разве что белку, сидящую на месте, да глухо стукнула винтовка Юэла, — тут уж можно было не сомневаться, не ждать рога: Юэл не мазал.

— Не придется мне, видно, стрелять, — говорил мальчик, — и никогда я, наверно, никого не убью.

— Придется, — отвечал ему Сэм, — жди. Будешь охотником. Мужчиной. Жди.

Но Сэм теперь всегда оставался в лагере. Доедет, бывало, в фургоне до шоссе, возьмет верховых лошадей и вернется. Так они и двигались: мужчины верхом, а дядюшка Эш, мальчик и Джим — с Сэмом, в фургоне, наполненном добычей: мясом,

рогами, головами зверей, лагерным барахлом, охотничьей оснасткой, и фургон валко нырлял в ухабах, игрушечный среди огромных дубов и кипарисов, и по бокам дороги дремучее мелколесье уползало назад и нескончаемо надвигалось, а по-над ним высилась заповедная чаща, отметившая мальчика своим диким дыханием, наступала и снисходительно смыкалась над фургоном, недоступная, но не враждебная, просто безразличная к крохотным существам, барахтающимся внизу, потому что даже Вальтер, и майор де Спейн, и генерал Компсон, не раз бравшие и оленя и медведя, казались не опасными, беззащитными и слабыми рядом с этой первобытной и глухоманной мощью — непроницаемой, непомерной, безликой и безразличной.

Потом они выдирались, выползли из чащи, лес обрывался, отступал, как стена, с маленькой прорубленной в ней дверью — дорогой, и открывались распростертые под мутным дождем тощие поля, домишки, заборы — там, где человек, вгрызаясь в леса, отхватил себе часть их вековых владений, и стена удалялась, непроницаемая, неприступная, непомерная в неверном и сером сумраке, и дверь, через которую они только что продрались, вернее — протиснулись, захлопывалась и исчезала.

И тут их обычно поджидал шарбан, и майор де Спейн, генерал Компсон, Маккаслин, Вальтер и Бун спешивались, и Сэм садился на одну из лошадей и уезжал, ведя других в поводу, и мальчик провожал его взглядом до стены, высокой и таинственной, и Сэм удалялся, и с каждым шагом становился все меньше, и он никогда не оглядывался назад. Потом он скрывался, и мальчик верил (и считал, что и Маккаслин думает так же), что Сэм возвращается к своему уединению, и даже больше — к своему одиночеству.

## II

И вот — свершилось. Он пролил кровь, и Сэм Фазерс совершил обряд посвящения, и мальчик превратился в охотника, мужчину. Это случилось в последнее утро. Днем они свернули лагерь и уехали — майор де Спейн, генерал Компсон, Бун Хоггенбек и Маккаслин верхом, а он, Вальтер, негры и Сэм — в фургоном, вместе с добычей мальчика: шкурой и рогами его оленя. Может быть, там были и другие трофеи (и точно, были) — он их не видел, все еще оставался наедине с Сэмом: они и лес, как утром — одни. Фургон мотало и трясло на ухабах, отступали, сдвигались и непрерывно наползали стены мелколесья по бокам

дороги, и над ними поднималась глухоманная чаща, пропускала их, не враждебная, как и раньше, но и не безразличная: скорее настороженная — отныне и навсегда, с тех пор как дрожащее ружье поднялось, и два дула угрожающе застыли и загремели, и грохот прокатился по лесу и замер последней дрожью оленя, распластавшегося в вечном устремлении вперед, — и фургон качался и нырлял

Рисунки Г. ФИЛИППОВСКОГО



в выбоины, — и мальчик, и Сэм Фазерс, и горячая кровь, и ускользящий олень, и выстрел, и чаща сливались воедино, — и фургон скрипел, но вдруг Сэм Фазерс натянул вожжи, мулы остановились, и в подступившей тишине все услышали ни с чем не сравнимый звук — свистящий шорох, стелющийся по лесу, вслед за поднятым с лежки и уходящим оленем.

Потом раздалось рычание Буна, и он показался из-за поворота дороги, прискакал галопом, дикий, взъерошенный, нахлестывая мула собственной шляпой. За ним спешили остальные охотники.

— Спускайте собак! — надрывался Бун. — Собак спускайте! Четырнадцатые рога! И лежал-то у дороги! Да если б знать, да я б его ножом, ножом бы достал!

— Ну да, он и стал уходить, — сказал Вальтер, — видит: Бун, без ружья, как всегда.

Он уже стоял с винтовкой на дороге. Выбрался и мальчик со своим ружьем, и все мужчины собрались, подбежали, и Бун уже буйствовал и орал в фургоне, расшвыривал добычу и лагерное барахло.

— Собак спускайте! — завывал он, и мальчику казалось, что никогда они не опомнятся, старики с холодной и тягучей кровью, видно, годы сгустили ее и остудили, и она свернулась и не может биться и бежать по жилам, как у него, или у Вальтера, или даже у Буна.

— Как, Сэм, — спросил де Спейн, — обернут его собаки, доберут по следу?

— Не надо собак, — ответил Сэм, — без гона он пойдет по малому кругу, вернется до вечера на лежку: он местный.

— Ладно, — сказал де Спейн, — берите лошадей. А мы в фургоне: отъедем и подождем.

Маккаслин, де Спейн и генерал Компсон залезли в фургон и поехали по дороге, а мальчик, Бун, Вальтер и Сэм, верхами, повернули назад и в лес.

Они ехали сквозь бледную полслеполуденную мглу, и казалось, что белесая и вялая заря, так и не успев разгореться в день, тонет среди серых сумерек вечера. Примерно через час Сэм остановился.

— Хватит, он будет возвращаться на ветер, надо, чтоб он не учуял мулов, слезайте.

Они привязали мулов и пошли — пешком сквозь чащу и бесцветную муть: Сэм, за ним мальчик, за мальчиком остальные — вплотную, след в след — так ему казалось. Но они приотстали. И дважды Сэм чуть поворачивал голову и бросал через плечо:

— Не торопись — успеем.

И мальчик заставлял себя идти медленней, себя и бешено мчащееся время, с которым безвозвратно уходил рогач все дальше и дальше в неостановимом побеге, хотя собаки и не гнались за ним по пятам, и Сэм говорил, что олень возвращается: завершает круг и приближается к ним.

Они пробирались по лесу час, а может, и два — мальчик не помнил. Он смутно чувствовал, что земля подымается, кустарник редет и отступает вниз, и наконец, они поднялись на перевал, к водоразделу, но мальчик никогда не бывал в этих местах и не мог понять, куда они вышли. Сэм остановился.

— Здесь, — сказал он. И — Вальтеру с Буном: — Идите по гребню — там две тропинки. Если он пройдет, то там или тут.

Вальтер огляделся.

— Знаю, — сказал он. — Видел я его. Теленок, годовик.

— Теленок? — одышливо переспросил Бун. Лицо у него все еще было диковатое. — Если тот, кого я поднял, годовик, ну... тогда я, значит, просто школьник, щенок.

— А я, конечно, видел кролика, — сказал Вальтер. — А еще я слышал, что ты броскойней, и все. А то Бун и так тут распугал все живое миль, наверно, на пять — хоть на ветер, хоть по ветру.

Бун глянул на Вальтера.

— Проваливай, — сказал он. — Не хочешь стрелять — не мешайся. Да я... Господи, да я...

— Стойте здесь, — сказал Сэм спокойно. — Стойте и ругайтесь. Обоим — по оленю.

— Правильно, — сказал Вальтер. Он двинулся вперед, опуская дуло винтовки, чтоб удобней идти. — Надо поворачиваться, да поспокойней, и все. А то Бун и так тут распугал все живое миль, наверно, на пять — хоть на ветер, хоть по ветру.

Мальчику еще слышалось ворчание Буна, хотя оно уже стихло и настала тишина. И опять они стояли —



мальчик и Сэм, неподвижно и рядом, у огромного дуба в низкорослом кустарнике, и снова все было тихо вокруг. Безмерное уединение, первозданное одиночество разливалось в зыбком сумраке чащи, да сеялся тихий холодный дождичек, моросивший с утра, — и больше ничего. Потом, словно дождавшись, когда они остановятся и замрут в ожидании, глухомань ожила. Казалось, она незримо смыкается над ними, намертво застывшими и в потаенных местах, — дремучая, непомерная, мудрая и справедли-

вая, и где-то под ее беспристрастной защитой крался олень, не напуганный собаками, — не мчался в первобытном и слепом ужасе (никогда, впрочем, не слепой — даже в гибельном пробеге с озверелой сворой на свежем следу), просто пробирался, настороженный, как и люди, под присмотром векового и бесстрастного арбитра. Мальчику было только двенадцать лет, но он уже уравнился в правах со всеми — перед лицом могучего и древнего судьи: в то неисчислимо короткое мгновение, когда утром навсегда оборвалось его детство. А может быть, это утро ничего и не изменило: может быть, и матерый охотник-горожанин (не говоря о ребенке) не может постичь этой любви к живому — даже в короткое мгновение убийства, — а только коренной и потомственный лесовик. В мальчике снова нарастала дрожь.

— Сэм, опять, — прошептал он. Даже не прошептал, лишь чуть повернулся — по движению губ угадывались слова. — И хорошо, пусть, а подыму ружье — и все пройдет...

Но Сэм не шевельнулся.

— Молчи, — сказал он.

— А он близко? — прошептал мальчик. — Ты думаешь...

в мире существовало солнце, то оно, наверно, опускалось за холмы, и ровные белесые сумерки сгустились, обволакивали его могучим дыханием леса, и вдруг мальчик понял: это его дыхание, душа, слившаяся с духом гиганта, неизмеримо разрастается, напоенная любовью, любовью, которую передал ему Сэм — не только охотник, но прямой потомок и духовный наследник исчезающей расы. Мальчик задержал дыхание и прислушался. Чаща замерла, склонилась над ним — в груди его стучало их общее сердце, — обняла и, ожидая, затаила дыхание, и дрожь утихла (как он верил и знал), и медленно он взвел оба курка.

А потом все это развеялось, ушло. Чаща стояла все такая же застывшая, но не сливавшаяся с ним, не склонялась теперь над ним, как раньше: что-то изменилось за гребнем мелколесья, и мальчик понимал, сознавал — что будто видел, как возникает в кустарнике олень, замечает их (или чувствует) и исчезает, стирается, и чаща смыкается за ним и оживает. Но она стояла все такая же застывшая: рванулась и замерла, хоть олень и ушел, — непомерная, бесстрастная, нависшая над ними, и мальчик мысленно тянулся туда, в центр этого чутко застывшего поклона, и безмолвно кричал: «Не надо!

Нет!» — зная, что уже поздно, и ничего не изменишь, — с тем же отчаянием, с каким он три года назад говорил Сэму: «Видно, не стрелять мне», — и тут он услышал глухой удар: стукнула винтовка, бившая без промаха, и звук Юэлова рожка разлился по лесу, и что-то надломилось в мальчике и ушло, и больше он уже не надеялся выстрелить — он знал.

— Все небось, — сказал мальчик. — Вальтер его взял. — Он повел ружьем — стволы поднялись — и машинально без выстрела спустил курок, и уже двинулся уходить, когда Сэм сказал:

— Жди.

— Ждать? — крикнул мальчик. Он запомнит это: как он яростно повернулся к Сэму. — Зачем? — возможность была упущена, счастье ушло. — Ты слышал рог?

И он запомнит, как стоял Сэм. Сэм не шелухнулся. Плотный и невысокий, скорее коренастый (а мальчик вытянулся за последний год, и они были почти одинакового роста), Сэм смотрел поверх головы мальчика туда, за перевал, и мальчик понимал: Сэм не замечает, не видит его, хотя и знает, что он тут; знает, но не видит. И потом мальчик увидел оленя.

Он спускался с холма, струился над кустами, меняющий очертания, неуловимый для глаза, плавный и мощный, как звук рога, победно возвещавшего его мнимую гибель, — каждый новый звук изливался новым шагом, потому что олень не бежал, а шел — непомерный и неторопливый, — откинув голову и бережно пронося рога над подлеском, и мальчик стоял позади Сэма (а не впереди, как обычно), чуть подняв ружье — только вскинуть и прицелиться, — и один курок был все еще взведен.

— Молчи.

И мальчик замолчал. Но не мог унять дрожь. Да он и не пытался, потому что знал: она уйдет, когда потребуются твердость. Разве Сэм не причастил его, не освободил от слабости — не от любви и сострадания ко всему сущему, к движению внезапно обрываемой жизни, замирающей в расцвете животворных сил, — а от бессильной и потому часто жестокой жалости. Так они стояли, неподвижно и безмолвно, стараясь дышать глубоко и ровно, и если



Потом он увидел их. И все равно не побежал. Только приостановился — на миг, и глянул — высокий, выше любого мужчины, — и весь подобрался, мускулы напряглись, но не прыгнул, не побежал, не изменил направления, а незаметно и незримо устремился вперед — в легком и свободном оленьем полете, почти рядом, в двадцати, наверно, футах от них — голова откинута, и в глазах не страх, не надменность или гордость, а непуганая, первобытная, первозданная бездна, и Сэм Фазерс, стоя чуть впереди мальчика, протянул, приподнял руку — ладонью кверху, и медленно произнес несколько слов — на языке, которому мальчик учился в кузнице, слушая беседы Сэма и Джабекера, — слова поплыли в звуках юэловского рожка, трубящего о смерти:

— Хозяин. Праотец.

Когда они подходили к Вальтеру Юэлу, тот даже не обернулся, стоял к ним спиной, неподвижный и ошарашенный.

— Смотри-ка, Сэм, — сказал Вальтер раздумчиво. Он стоял, не глядя на них, над оленем: теленком, родившимся прошлой весной. — Такой малютка — не хотелось стрелять, но следы! Если б не его это были следы, я подумал бы, что тут проходил олень, какого я и в жизни не видел, — бык! Следы-то чуть не больше коровьих — и одни.

### III

Они подъезжали к шоссе в темноте. Дождь прекратился, похолодало и прояснилось. Майор де Спейн, генерал Компсон и Маккаслин ждали их, сидя у костра. Легкий шарабан темнел невдалеке.

— Взяли? — спросил их майор де Спейн.

— Кролика с рогами, — ответил Вальтер. Он сбросил с мула маленькую тушу.

Маккаслин посмотрел.

— А большого не видели?

— Да и Бун, я думаю, не видел, — сказал Вальтер. — Спугнул корову в кустах, охотник.

Бун принялся орать и ругаться, проклинать и Сэма, и Вальтера, и всех, мол, не дали собак, упустили оленя.

— Ладно, неважно, — сказал майор де Спейн. — Не уйдет, возьмем его на будущий год. Поехали домой: поздно, пора.

Было уже за полночь, когда они высадили Вальтера — у ворот его дома, в двух милях от Джефферсона, и отвезли Компсона, и вернулись к де Спейну, где мальчик и Маккаслин должны были ночевать, — до их дома оставалось 17 миль. Небо расчистилось, и мороз окреп, и под ногами весело похрустывал ледок, когда они впотьмах пробирались по двору, и дом их ждал, теплый и темный, а потом майор де Спейн зажег свечу и проводил их наверх, в комнату для гостей. И была большая и уютная кровать, и лежанные до дрожи, а потом приятные простыни, и дрожь прошла, и мальчик вдруг все рассказал Маккаслину — про оленя, про любовь, про отчаяние и смерть, и тот слушал, а потом мальчик сказал:

— Ты не поверил? Знаю, не поверил...

— Почему же? — ответил Маккаслин. — Поверил. Так уж заведено на нашей земле. Все рождается для яростной жизни, бурлит и радостно уходит в землю. Для печали и страдания тоже, конечно, но они-то и рождают любовь и сострадание, да и всегда этому можно положить конец, если ты веришь, что действительно страдаешь. Но даже и страдание лучше, чем ничего: только позор хуже небытия. Никто не живет вечно, ты знаешь и видел, но каждый переживает свой земной срок. И где-то это остается — не может не оставаться: не для того все создается, чтоб исчезнуть бесследно. А земля не такая уж глубокая и вместительная и ничего не хранит: все идет в дело. Попробуй похорони семя — не удержишь: прорвется, пробьется, прорастет к жизни, к свету и воздуху, протянется к солнцу. А они (мальчик увидел протянутую руку — черным силуэтом на темном окне, за которым виднелись чистое небо и льдистые, умытые морозом звезды), им оно, может, и не нужно, наше солнце.

— Но нам-то они нужны, — перебил его мальчик, — на земле есть место и для них и для нас.

— Конечно, — ответил Маккаслин, — есть. Тем более что им и не надо места, они ведь и тени не отбрасывают, они...

— Но я видел его! — вскрикнул мальчик. — Видел!

— Знаю, — сказал Маккаслин. — Я тоже видел. В день, когда убил своего первого оленя.

Перевел с английского А. КИСТЯКОВСКИЙ



## ВРАЧЕВАТЕЛЬ ЗОЛОТЫХ ПЕТУШКОВ

**С**наряжение вроде бы альпинистское — крюки, штурмовая веревка вокруг пояса, ботинки с шипами. С другой стороны, как-то странно смотрится рядом с этим легкая рубашка и холщовые брюки мастера-ремесленника. Да и вообще, откуда вдруг в Бельгии — «плоском краю», по словам поэта, — горы? Разве что терриконы возле шахт. Да готические шпили многочисленных соборов. Именно к ним, к соборам, и направляется «альпинист».

Его зовут Жан Леконт. Ему сорок три года, из них больше двадцати он занимается своим уникальным делом — ремонтирует золотых петушков, сидящих на верхушках церковных крестов.

— Как я стал заниматься таким делом? — переспрашивает Леконт, подтягивая штурмовую веревку. — А очень просто. Однажды бургомистр моего предместья (живу я на окраине Брюсселя) пожаловался на улице, что какой-то подрядчик запросил с муниципалитета дикие деньги за то, чтобы построить вокруг колокольни леса и поправить скособочившегося петуха на шпиле. Ну, а я с детства привык лазить по крышам и много раз забирался на колокольню, хотя мать и грозила оборвать мне за это уши. Так вот, я предложил бургомистру за десятую часть той цены все выправить. И выправил. Весть разнеслась по округе, и уже через два дня мне пришло письмо из Малины с предложением поправить там флюгер.

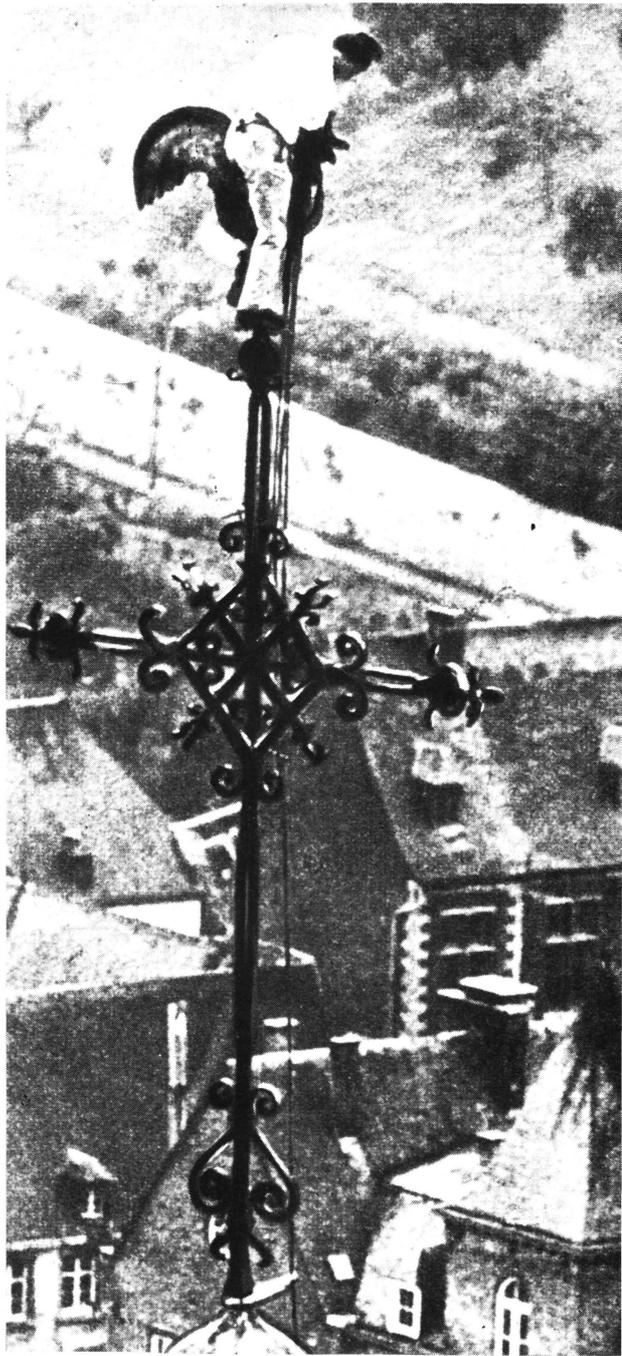
В Бельгии 9258 церквей, так что у Жана работы хватит надолго. В чем же конкретно заключается эта работа?

Во-первых, нужно регулярно (раз в десять лет) смазывать шарниры, на которых крутятся петушки-флюгера. Во-вторых, нужно приводить в порядок их внешний вид. Старинных петушков покрывали тонкой золотой фольгой, со временем она отходит, и листочки фольги надо заменять. Те петушки, что помоложе, окрашены золотой краской, защищенной сверху тонким слоем пластика. Жану пришлось сконструировать особую грушу для опрыскивания полинявших петухов.

Часто ли наверху Жана ждут сюрпризы?

— Да, нередко. О том, что многие петушки оказываются пробитыми пулями, я уже и не говорю: во время войны немецкие солдаты развлекались тем, что выбирали их мишенями. Но вот однажды в Арденнах, — продолжал рассказывать Жан, — я полез на старую колокольню, поднялся по кресту и увидел, что петуха разъела ржавчина. Я спустился на крышу, и в этот миг вдруг громадный крест весом в триста пятьдесят килограммов рухнул на площадь! Оказывается, он держался все это время на честном слове и на штыре громоотвода... Часто бывает и так, что статическое электричество не уходит в землю, а накапливается в петушке, так что, поверьте, я-то уж знаю, как клюет петух. Словом, хватает всякого...

Со временем известность Жана Леконта стала столь широкой, что теперь к нему обращаются с самыми неожиданными просьбами. Так, Общество



орнитологов попросило: «Раз уж вы все равно забираетесь на такую высоту, не возьметесь ли сфотографировать заодно гнезда сов и других птиц, живущих наверху в недоступных для ученых местах?»

— Золотые петушки, совы, грачи, вороны... — смеется Жан. — Теперь в моей жизни одни пернатые.



# КОМУ ОТКРЫТ КОСМОС

**Н**ачиная с 12 апреля 1961 года человек живет уже не только на Земле. Он в лице своих первых представителей отважился дополнить земную среду обитания космической.

Тысячу раз сказано и повторено, что эта среда враждебна всему живому. Но существуют разные грани этой враждебности. От вакуума, сверххолода и жары обезопаситься можно сравнительно несложным путем: стенки космического корабля и даже скафандр надежно изолируют человека от этих влияний. От радиации защититься куда трудней, но и это в конце концов дело техники. Но от эмоций, воспитанных всем предшествующим образом жизни, нет и не может быть никаких физических заслонов.

Впрочем, речь идет о чем-то гораздо большем, чем просто эмоции или просто физиология. Юрий Гагарин, первый, кто столкнулся с космосом лицом к лицу, совместно с ученым-медиком В. И. Лебедевым написал книгу<sup>1</sup>, где этому посвящено немало страниц.

Всю жизнь мы обязательно на что-нибудь опираемся. Всегда, за исключением редких секунд прыжка. И все наши предки по эволюции тоже всегда на что-нибудь опирались. Таков уж земной образ жизни, который слепил человека таким, каким он был и есть. И каким он далее быть не хочет.

Но в космическом пространстве при невесомости опоры нет. Мало того. В земной жизни мы твердо знаем, где верх и где низ, и это важно вот по какой причине. В перечислении органов чувств обычно значится: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Итого пять органов чувств. Шестого нет, о нем пишут разве что так: «Каким-то шестым чувством он уловил...»

Так вот: шестое чувство существует абсолютно реально. Это чувство трехмерного пространства, или чувство поля тяготения, как угодно. Есть у человека и соответствующий орган шестого чувства — вестибулярный аппарат.

Представим на мгновение мир, в котором зрение или слух (или осязание) начали бы нам безбожно врать. Белое, а на самом деле черное (еще того хуже — неизвестно какое), близкий звук, а на деле далекий, холодно, а в действительности жара... Легко ли жить в таком мире? Меж тем в космосе во время полета без ускорения наше шестое чувство ведет себя так и только так.

Мы с этим ощущением не сталкивались, и нам трудно оценить его влияние на человека. Вот, однако, рассказ человека, оказавшегося при опытах на самолете в состоянии кратковременной невесомости (цитирую по книге Ю. Гагарина и В. Лебедева):

«Я не понял, что наступило состояние невесомости. У меня внезапно возникло ощущение

стремительного падения вниз, и мне показалось, что все кругом рушится, разваливается и разлетается в стороны. Меня охватило чувство ужаса, и я не понимал, что вокруг меня происходит».

Это описание кое-что назовет... психиатру. Он узнает в нем типичную для некоторых болезней головного мозга картину психической реакции, известной под названием «гибели мира».

Если бы утрата опоры, потеря веса и чувства «верха-низа» так влияли бы на всех людей, путь человечеству в космос был бы скорей всего заказан навсегда. К счастью, люди скроены не по одному стандарту. По отношению к невесомости они делятся на три основные группы. Представители первой ощущают лишь некоторую расслабленность или облегчение из-за потери веса (к ним, естественно, относятся космонавты). У людей второй группы возникают различные иллюзии — им кажется, что они висят вверх ногами, очертания предметов искажаются как в перевернутом бинокле и так далее. У третьей группе уже говорилось.

Это различие (врожденное?) ставит маловажный сегодня, но актуальный для будущего вопрос: всем ли будет доступен космос?

Пока помедлим с ответом — наш экскурс в психологию человека, оказавшегося вне Земли, еще не закончен. Представьте, что вы сидите в кабине космического корабля. Это не полет, кабина находится на земле. Условия тренировки как будто простые: вам надо по радио сообщить на «Землю» о показаниях приборов и следить за экраном телевизора, на котором появляются схематические изображения. Время от времени сигналы расстраиваются и следует поправлять изображение. Словом, ничего сложного, утомительного и тем более опасного.

Но вот что обнаружили зарубежные ученые (снова цитирую по книге Ю. Гагарина и В. Лебедева): «...Один очень квалифицированный летчик почувствовал головокружение... Другому среди приборов пульты управления стали мерещиться какие-то незнакомые лица. У третьего, по профессии тоже пилота, когда «полет» подходил к концу, приборная доска вдруг начала «таять и капать на пол»... Был случай, когда участник эксперимента потребовал через 22 часа выключить телевизор, так как от него якобы исходил невыносимый жар...»

Длительная «Робинзоида» на космическом корабле явно не сулит ничего хорошего! Но и подбор экипажа для длительного путешествия — дело отнюдь не простое. Психологи не зря говорят о понятии «психологическая несовместимость»: не всякая группа людей может образовывать коллектив, тем более такой, чья прочность

<sup>1</sup> Ю. Гагарин, В. Лебедев, Психология и космос. Изд-во «Молодая гвардия», 1968.



испытывается опасностями и нервными перегрузками.

А они неизбежны в будущем. Месяцы пути к другим планетам. Месяцы, когда тесный корабль будет «неподвижно висеть» среди звездной бездны, и ничто, ни один ориентир не проанализирует, что корабль все-таки летит, а не «висит». Долгие месяцы наедине друг с другом, с приборами и со вселенной. Время течет томительно однообразно. А снаружи — застывший и неизменный, чужой мир звезд. Вглядитесь на него с Земли. Попробуйте в ясную ночь лечь на спину и, не отрываясь, смотреть в небо. Это ни с чем не сравнимое впечатление. Многие люди отчетливо чувствуют падение в бездну и растерянность перед бесконечностью мира. Эта равнодушная бесконечность будет для межпланетчиков единственным пейзажем.

За бортом космического корабля человека ждут новые эмоциональные нагрузки. Покидая корабль, он шагает прямехонько в бездну! Людей, которых бы она не пугала, судя по всему, не существует, — это проверено еще на Земле. Уж космонавтам-то не откажешь в природной смелости! Но вот их самоощущение при первом прыжке с парашютом.

Юрий Гагарин:

«Я уж не помню, как мы взлетели... Только вижу, инструктор показывает рукой: вылезай, мол, на крыло. Ну выбрался я кое-как из кабины, встал на плоскость и крепко уцепился обеими руками за борт кабины. А на землю и взглянуть страшно: она где-то внизу, далеко-далеко. Жутковато...»

Валерий Быковский:

«Как оттолкнулся от самолета — не помню. Начал соображать, когда рвануло за лямки и над головой выстрелил купол».

Андрей Николаев:

«...Он (инструктор) вынул предохранительную чеку прибора моего парашюта и скомандовал:

— Пошел!

Куда там пошел, если во всем теле наступило какое-то оцепенение. И хочу шагнуть за борт и не могу...»

Меж тем прыжок с парашютом, пожалуй, не опасней езды в автомобиле. Но силён древний, от звериных предков наследованный страх перед бездной...

А придет время, и людям — не одному, не двум — придется работать в самом космическом пространстве. Совсем недавно состоялась стыковка «Союза-4» и «Союза-5», после чего полет продолжала уже орбитальная станция. Это начало, положенное космонавтами В. Шаталовым, Б. Вольновым, А. Елисеевым, Е. Хруновым, подобно истоку могучей реки. Орбитальные космические станции нужны человечеству, чтобы без атмосферных помех исследовать вселенную, следить за течением погодных и иных процессов на Земле, вести в космосе еще небывалые физические эксперименты. Специалисты предвидят в будущем появление даже особой космической промышленности, производящей сверхчистые металлы, уникальные вакуумные приборы и множество других изделий, которые потребует техника. Это и еще многое другое уже сейчас видится заложенным в том волнующем космическом эксперименте, которому мы были свидетели. Вероятно, уже теперь на земле живут юноши, чьей профессией будет монтаж и сборка

в космической бездне; люди, которым предстоит жить и вести исследования на орбитальных станциях.

До полета первых людей в космос, до выхода их в открытое пространство существовали опасения, что жить и работать в космосе не смогут даже отборные из отборных. Каким разительным контрастом звучит теперь, например, рассказ Е. Хрунова: «Мне первому предстояло покинуть орбитальный отсек корабля. Люк открылся, и в корабль хлынул поток солнечного света. Я увидел Землю, горизонт и черное небо и почувствовал себя так, как перед покиданием самолета при первых парашютных прыжках. Это было волнение, похожее на предстартовое волнение спортсмена, длившееся всего несколько секунд. Затем привычный, отработанный на десятках тренировок ритм работы захватил меня, и думалось только о выполнении задания».

Разносторонняя, тщательно продуманная подготовка изгнала страх перед бездной, заранее как бы приспособила космонавта к новым условиям, сделала возможной работу в открытом космосе.

Но ранее заданный вопрос не снят: будет ли космос доступен всем нормальным, здоровым людям? Или сотни миллионов людей не смогут там побывать никогда, даже в качестве экскурсантов? Иначе говоря: способен ли Человек, существо глубоко земное, полностью свыкнуться с неземными условиями обитания?

Тут впрямь отметить вот какое любопытное обстоятельство. Почему-то именно в середине XX века, в «эпоху комфорта», люди вдруг стали отваживаться на путешествия, которые привели бы в трепет самых мужественных современников Колумба. На льдине через Северный Ледовитый океан плывут папанинцы. Бомбар без воды и припасов, на утлой шлюпке пересекает Атлантику. Чичестер огибает Землю. Да ведь это же фантастика для времени Колумба и Магеллана! А подобные предприятия теперь уже не единичны, и совершают их отнюдь не сверхбогатыри. Что произошло?

А произошло то, что люди увидели: казалось бы, невозможное — возможно. К середине нашего века были взяты новые, немислимые ранее высоты решимости и мужества. И в горах, и на воде, и под землей — всюду.

Каждый новый подвиг возбуждает своего рода цепную реакцию. Не будь папанинцев, летчиков, завоевавших воздух, альпинистов, взявших ранее недоступные пики, может быть, и тот же Бомбар не отважился переплыть океан. В спорте проверено опытом: что смог один, то со временем смогут многие. В жизни то же самое.

Тем сильнее мы благодарны тем, кто отваживается пересечь черту достигнутого. Сколько ни совершенны тренировки, какая бы подготовка ни велась, как бы истинны ни были теоретические предпосылки, только первопроходец окончательно делает невозможное возможным. Так восемь лет назад полет Юрия Гагарина открыл, что пребывание человека в космосе возможно. Так выход Леонова в открытое пространство доказал, что и это доступно человеку. Опыт первопроходцев, аккумулированный наукой, позволяет лучше подготовить следующий шаг. Сам факт победы психологически вдохновляет других на новую пробу сил. Так ширится цепная реакция подвига.

«Что смог один, то со временем смогут мно-

гие». В этой формуле уже заключен ответ на вопрос: для кого космос — для избранных или для всех?

Второй ответ еще более оптимистичен. Благодаря науке и технике доступное единицам постепенно становится доступным всем. Немногим более полувека прошло с того дня, когда первый человек с превеликими трудностями достиг Северного полюса. Сегодня над полюсом летают пассажирские лайнеры, в которых покачиваются люльки с грудными детьми.

Правда, когда мы говорим «наука сможет то, сможет это», мы как бы отделяем науку от нашей собственной деятельности. А в действительности она есть результат и нашей деятельности тоже, хотя бы потому, что в средства, ее питающие, вложена частичка труда каждого

из нас. Мы все, пусть в разной степени, соучастники ее достижений. И сохозяева, если не формально, то по существу.

...Грандиозно то, что произошло восемь лет назад. В тот день и последующие за ним человек выдержал неслыханное испытание на прочность. Ведь должна где-то существовать граница физических и психологических возможностей человека! Кажется, вот она, достигнута... Нет, ничего подобного. Земные моря, горы и пустыни не смогли ее выявить. И космос тоже.

И выявится ли когда-нибудь этот самый-самый последний рубеж, за который человеку уже и шага нет?

Или возможности человека, усиленные наукой, в принципе беспредельны?

**Д. БИЛЕНКИН**

**«АВТОСТРАДА» ДРЕВНИХ МАЙЯ** открыта на полуострове Юкатан археологической экспедицией Мексиканского института антропологии и истории под руководством известного ученого Виктора Сеговиа Пинто. Был раскопан участок тщательно утрамбованной древней дороги, проложенной по всем правилам строительного искусства — в низинных местах дорога поднимается на специальных насыпях, среди холмов лежит в искусственных выемках. Ширина древнего «шоссе» составляет ни много ни мало... 42 метра — современные автомобили могли бы передвигаться по нему в восемь рядов!

Впрочем, гораздо удивительнее другое — сам факт существования этой дороги. Ведь, как считают многие ученые, ни одна из великих цивилизаций Нового Света, включая майя, не знала колеса. Из конца в конце огромных империй грузы перевозились вьючными животными. А для них вряд ли стоило сооружать специальную дорогу, да еще такой невиданной ширины.

**СКУЛЬПТУРА, ВОЗРАСТ КОТОРОЙ 20 ТЫСЯЧ ЛЕТ**, обнаружена в Северном Афганистане. Она представляет собой небольшое — величиной с куриное яйцо — скульптурное изображение головы человека, вытесанное из куска известняка.

Хорошо известны наскальные рисунки ледникового периода, сохранившиеся в пещерах Восточной Испании, Северной и Южной Африки, однако скульптурные изображения этой эпохи, дошедшие до наших дней, крайне редки. В музеях мира собрано до настоящего времени лишь несколько подобных скульптур.

**11 САНТИМЕТРОВ В ГОД — ТАКОВА СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА.** По мнению советских исследователей, занимающихся проблемой передвижения полюсов, эта скорость сохранялась в течение последних 60 лет. Выдерживалось и направление — Северный полюс скользит по направлению к Лабрадору. Однако остается неясным, как двигался полюс в предыдущие десятилетия и куда он направится в последующие.

### **НАЙДЕН ГОРОД СИБАРИС?**

Как свидетельствуют античные историки, он был возведен некогда греками на юге Апеннинского полуострова, рядом с побережьем Ионического моря. Город достиг своего расцвета примерно два с половиной тысячелетия назад, но за шесть веков до нашей эры Сибарис, славившийся богатством и роскошью, был захвачен и уничтожен воинственными соседями из города Кротон.

Археологи предпринимали поиски следов города еще сто лет назад. Но лишь совсем недавно итальянский ученый Джузеппе Фот и американец Феликс Рэйни сообщили о том, что местонахождение легендарного города наконец-то установлено. Руины Сибариса, лежащие под шестиметровым слоем земли, обнаружены при помощи специального аппарата — цезиевого магнитометра — в долине реки Крати, в полутора километрах от моря.

Из скважин, пробуренных учеными на этом месте, были извлечены обломки древней черепицы и гончарных изделий. Неоднократно бур наткнулся на каменные конструкции. На очереди — археологические раскопки.

## **Загадки Проекты Открытия**

### **«КАРТОФЕЛЬНЫЙ ВЕК».**

В Европу, как известно, картофель был завезен лишь в эпоху Великих географических открытий... А на своей родине, в Южной Америке, он стал культивироваться еще в XII—XIII веках нашей эры — так считали ученые до недавних пор.

Однако новое открытие перуанских археологов доказало, что этот едва ли не самый популярный из корнеплодов гораздо старше. Археологическая экспедиция, работавшая в окрестностях Лимы, обнаружила захоронение, возраст которого около трех тысяч лет. И в одной из могил среди предметов, положенных некогда рядом с умершим, были и... картофельные клубни.

### **НЕПТУН «НА ПРИМЕРКЕ».**

Австралийские, новозеландские и японские астрономы, наблюдавшие не так давно уникальное явление — «затмение» звезды ВД-17°438 Нептуном, скрывшим ее на некоторое время из глаз земных наблюдателей, произвели новые, более точные, измерения диаметра этой планеты. С помощью совершенных фотоэлектрических методов ученые определили, что величина диаметра Нептуна составляет не 44 000 километров, как предполагалось прежде, а на пять или шесть тысяч километров больше.

*(По страницам советской и зарубежной печати)*

## ОХ, УЖ ЭТИ ВЛЮБЛЕННЫЕ!

**В**образим, что телепатия и в самом деле существует. Представим себе, что природа ее раскрыта. Предположим, что ТПС (телепатическая связь) стала столь же обычной, как и телефонная. Чтобы передать свои мысли на расстоянии, вам нужно всего лишь приобрести ТПУ (телепатический усилитель) и знать ТПИ (телепатический индекс) вашего собеседника. ТПУ носят обычно в



нагрудном кармане на манер авторучки, а ТПИ — формула вашей неповторимой личности — выводится из отпечатка большого пальца левой руки. Допустим, все это происходит в наши дни, когда нас удивляет не столько фантастическое развитие науки, сколько то, что мы все меньше ему удивляемся.

Итак, купе поезда Владивосток — Москва. Пожилой снабженец и юный бородач геолог.

Через полтора часа — Москва. Снабженец бреет и без того гладкие щеки. Геолог лежит на полке и, поглаживая бороду, глядит в потолок. Губы его беззвучно шевелятся.

— ТПС? — снабженец откладывает бритву.

— Да-да. Телепатия. Счастье, что она открыта!

— Счастье? — ворчит снабженец. — Все, кому не лень, лезут тебе в мозги. «Добудь то. Достань это. Не забыл ли того?» Да ну их! Я свой ТПУ отключил и в чемодан бросил, на самое дно. Тоже мне телепатия! Если б хоть мысли передавались! Как бы не так! Накладные! Заявления! Указания! Ин-

струкции! Запросы! Тьфу! Справки, заявки всякие! Звон в башке стоит. Дудки! Пользуйтесь междугородным телефоном!

— ТПУ — в чемодан? — ужасается геолог. — Господи, да вы настройте его раз и навсегда на индекс любимого человека, а она пусть настроится на вашу волну. Вот и все. И разлука становится таким же устаревшим явлением, как феодализм. Разлуки нет! Вы

все время вместе. Каждый час! Каждую минуту!

— Погодите, — говорит снабженец. — А разница во времени, часовые пояса? У вас на Сахалине двенадцать дня, у нее в Москве четыре утра, самый сон, а вы ее тормошите. Да она от вас с ума сойдет, с Крымского моста бросится, если не сообразит зашвырнуть оттуда ваш ТПУ!

— Что вы? В этой-то разнице вся и прелесть. В одиннадцать она спать ложится, а у нас семь утра. «Доброй ночи, милая!» — «Доброе утро, родной!» А дальше... Дальше она видит меня во сне. И, проснувшись, знает все, что со мной было. А я? Идешь по тайге и всем существом чувствуешь, как она во сне дышит, улыбается... Знаете, веткой иной раз боишься хрустнуть, чтобы ее не разбудить. Смешно, правда?

— А если вас, скажем, начальство разносит, медведь дерет или еще что-нибудь в этом роде?

— Стараешься вести себя так, чтобы она гордилась тобой. Напрягаешь всю волю, все силы... А говорят, наука убивает поэзию. Что вы! Да разве снилось такое волшебство каким-нибудь Тристану и Изольде? Только теперь благодаря науке самая-то поэзия и начинается!

— Да-а... Любовь... Сколько ж вы с ней не виделись?

— Семь месяцев. Если б не ТПС, убитая было б можно. От одного ожидания писем.

— Телепатия телепатией, а ведь пляшете, поди, когда вам письмо подадут.

— Письмо? Полгода без писем обходимся. И не жалеем. У нас каждая минута — новость. Вот сейчас... Ах ты, глупенькая! Подружку встретила, заболталась. И все равно она со мной, все равно. Что говорят, не знаю, но чувствую, как волнуется, опоздать боится.

— Телеграмму отбили? — озабоченно спрашивает снабженец. — Номер поезда, номер вагона и все такое прочее?

— Номер поезда! — смеется геолог. — Да она уже и про вас знает! Я ей рассказал!

И он ласково проводит рукой по тому месту, где в кар-

машке, поближе к сердцу, лежит ТПУ, настроенный на волну любви.

— Семь месяцев непрерывной ТПС, — размышляет вслух его спутник. — А ну-ка, молодой человек, покажите мне ваш ТПУ.

Бородач вынимает из кармана голубой цилиндрок, неохотно передает собеседнику. Пока тот вертит цилиндрок в руках, молодой человек растерянно улыбается, как близорукий, у которого сняли очки:

— Вот я ее и не чувствую. Странно как-то. Пусто. Словно душу вынули.

— Вы разбираетесь в ТПУ? — спрашивает снабженец. — Нет? Ох, уж эти влюбленные! Ваш ТПУ не работает. И никогда не работал. Фабричный брак! И куда ОТК смотреть!

## АТАВИЗМ

Условимся, что дело происходит на далекой планете, чуть ли не в другой галактике. Условие легкое: читатель давно освоился со множеством миров, открытых фантастами, и вообразить их не составляет особого труда. Добавим, что цивилизация на планету занесена жителями Земли, — тоже вещь довольно обыкновенная.

Так вот. Обитателю далекой планеты стало скучно. Ему было просто нечем себя занять. Хотелось как-то убить время. То ли Он сидел в зале ожидания с видавшим виды чмоданом из кожи василиска, то ли дожидался приема в каком-нибудь межгалактическом управлении, то ли весь вечер топтался с гипербукетом квазинезабудок под неподвижным микроспутником - осветителем. Предположим последнее.

От нечего делать Он считал. Сначала красивых женщин в толпе. На первых порах их было немного. Но чем больше Она опаздывала, тем больше становилось красавиц. «Странная закономерность!» — поду-

мал Он. Он считал и считал, пока не обнаружилось, что женщины, проходившие мимо него, прекрасны все до единой.

Тогда Он переключился на машины разных марок. Никто из водителей не догадывался, что на перекрестке происходит состязание. Выяснилось, сколько машин такой-то марки мчит-ся туда, сколько обратно, сколько — с пассажирами, сколько — без. Какие машины по количеству на первом месте, какие на втором, какие на последнем, какой процент составляют они от общего числа.

Далее Он принялся читать с конца всевозможные вывески и световые рекламы. При этом ему вспомнилось детство.

Потом его заинтересовало, сколько имен существительных можно образовать из букв, составляющих имя его любимой. Затем Он проделал такую же операцию со своим собственным именем. В памяти возник-

Он, — эта страсть ставить перед собой нелепые задачи и решать их с упорством маньяка? И в приемных, и в залах ожидания, и в концертных залах, и в ресторанах, и на заседаниях, не говоря уже про все виды путешествий, от вечернего моциона до космического рейса... А теперь уже и на любовном свидании!»

Он больше не видел ни женщин, ни машин, ни реклам. Он ломал голову над темными глубинами собственной психики. И чем дальше, тем глубже Он убеждался, что позорная страсть убивать время бессмысленными вычислениями сильнее его разума и воли, что она бессознательна, стихийна и что, пожалуй, ее надо рассматривать как проявление властного древнего инстинкта.

И тут его озарила догадка: «Да это же атавизм! Возврат к далекому предкам! Ведь они были машинами, счетно-решающими устройствами, и не более того. Мы приходим от роботов, а не от живых существ! Голос крови, точнее машинного масла и железа!»

В самом деле. Тысячелетия назад с Земли на эту планету были запущены одни только автоматы, вычислительные устройства. Но они сумели постепенно пересоздать себя и превратились в живые существа.

«Увы! — горестно заключил Он. — В чем-то мы остались машинами. Отсюда этот дикий атавизм, эта противоестественная для живого, для смертного носителя разума спо-



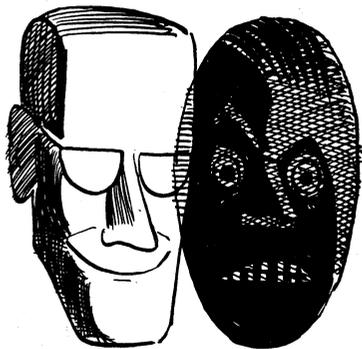
Рисунки В. КОЛТУНОВА

ли студенческие годы: лекции, семинары, диспуты...

И наконец, ему стало стыдно. «Что же это я делаю? Почему я считаю и считаю вместо того, чтобы волноваться, беспокоиться, сходиться с ума, может быть, даже ревновать, словом, вести себя так, как положено полноценному разумному существу? Откуда, — размышлял

способность, вернее потребность убивать время, делать что-то от нечего делать и считать, считать, считать... Все-таки есть нечто постыдное в том, что мы приходим от машины. То ли дело люди Земли! Какое счастье происходить от обезьяны! От живого, непосредственного, глубоко эмоционального существа!»

## МЫСЛИ НЕ ПАХНУТ



Честно говоря, я стесняюсь обращаться к частникам. Но объявление на столбе у автобусной остановки на всякий случай запомнил: «ДОКТОР ШНУР. ПСИХОТЕРАПИЯ. МЫСЛЕКОСМЕТИКА. МЫСЛЕГИГИЕНА». Адрес. Телефон. Телепатический индекс не самого доктора, а его лаборантки.

Терпение мое кончилось, когда в вагоне метро милая старушка шепнула мне на ухо: — Молодой человек, с такими мыслями лучше бы дома посидеть.

Я не выдержал, тут же в метро установил ТПС с лаборанткой и на следующий день очутился у доктора Шнура.

В приемной трое перелистывали старые журналы. Когда я вошел, все трое поглядели на меня, брезгливо сморщили носы и переглянулись.

Я бы на их месте вел себя скромней: у одного из них мысли явно пахли мышами, у другого квашеной капустой и лишь у третьего запах мыслей был такой, с которым не так уж стыдно появляться на улице и в обществе, — нечто вроде этилированного бензина, резкий, противный, но хотя бы не позорный. Самих мыслей я, разумеется, прочитать не мог, так как ТПИ сидящих в приемной не были мне известны.

Маленькая остроносая лаборантка (ее мысли пахли земляным мылом) назвала мою фамилию, и я вошел в каби-

нет. Доктор Шнур, худой, высокий, в белом халате, на котором эффектно выделялся голубой колпачок ТПУ, пожал мне руку и быстро заглянул в глаза. От его мыслей пахло озоном.

— Доктор, — начал я с места в карьер. — Пожалуйста, скажите, чем же, черт побери, пахнут мои мысли? Ведь только я один этого не знаю.

— Успокойтесь, — ответил доктор. — Мысли не пахнут. Это иллюзия. Просто у всех завелись ТПУ, и люди улавливают некий фон, на котором возникают чужие мысли. Улавливают сознанием. Нос тут совершенно ни при чем.

— Но почему же они его морщат? А позавчера на концерте органной музыки от меня даже отсела соседка.

— Иллюзия, — улыбнулся доктор. — Этот фон, или, говоря по старинке, образ мыслей, воспринимается как запах. Но в действительности мысли, повторяю, запаха не имеют и, следовательно, не могут воздействовать на обоняние.

— И все-таки чем пахнут мои мысли?

— Все будет хорошо, мой дорогой, — ласково сказал доктор Шнур. От его мыслей вдруг запахло нагретой хвоей.

И я приступил к делу:

— Я ничего не понимаю, доктор. На людях, клянусь вам, я всегда стараюсь думать только о хорошем. Ей-богу! О детях. Или там о природе. О поэзии. Недавно приятель посоветовал думать о памятниках старины — ему это помогло. Я и о них думаю. Толку никакого. У меня больше нет друзей, на работе меня едва терпят, жена ушла к матери, хотя до изобретения ТПС мы жили дружно. Пишет, чтобы я музыку слушал, ходил в музеи. Искусство, мол, облагораживает. Куда там! Помогает, конечно, но на каких-то десять минут. Постоишь в раздевалке, и опять от тебя носы воротят.

— Видите ли, голубчик, — усмехнулся врач. — Фон, или, как вы изволите выражаться, запах мыслей, не всегда зависит от самих мыслей, от их содержания. У одного моего больного прямо на глазах фон резко улучшился. «О чем вы подумали?» — сразу же спросил я. Подумал же он примерно вот что: «А пошли вы все!» И, знаете, фон оказался весьма

благопристойным. Другой пациент восторженно размышлял на тему, как прекрасен мир. И что же? Фон этой достойнейшей мысли был такой, что мне пришлось на несколько часов задержать больного у себя, пока не выветрилось.

— Так что же делать?

— Прежде всего старайтесь не лгать даже в мыслях, даже самому себе. Лживые мысли, как правило, неприятно действуют на окружающих. Поэтому в общественных местах рекомендуется мыслить правдиво.

— Э-э, доктор! Видел я в электричке рыбака, сидит ухмыляется, руки раздвигает — вот, мол, какая была! Уверю вас, мысленно плетет всякие небылицы. А фон у этого вранья такой, что с ним хоть в президиум садись.

— Это, дорогой мой, не ложь, а самодетельное творчество, разновидность поэтического вдохновения.

— Ну хорошо. Сажу дома, разбираю бумаги, а сам думаю, как на собрании всю правду выложу. А жена ворчит: «Не знаю, что ты думаешь, но чувствую, что лжешь». Что вы на это скажете?

От мыслей доктора Шнура у меня приятно зацекотало в носу — видно, веселое что-то подумал.

— Милый, — произнес он. — Хочу напомнить вам слова старого английского поэта:

Правда, сказанная злобно,  
Лжи отъявленной подобна.

И еще... В молодости, изучая психологию замкнутых коллективов, ездил я в экспедиции. Был там один повар, симпатичнейший заика. Как-то он сказал мне: «Говорят, я поехал в экспедицию, п-потому что меня жена б-бьет. Это, конечно, п-правда. Но зачем так клеветать на человека?» И по-своему он был прав. Как вы думаете?

— Я, доктор, об одном думаю. Вот выйду от вас на улицу, и опять от меня начнут шарахаться.

— Скажите, милый, вы не приглядывались к тем, у кого этот самый фон, или, по-вашему, запах мыслей, всегда приятен?

— Да, доктор. Как это им удается? Прямо артисты! И о чем, интересно, они думают? Как исхитряются?

— А знаете, милый, о чем вы на самом деле думаете, на что растрачиваете колоссальную умственную энергию? О том, какое впечатление вы производите! О том, как бы выглядеть получше в глазах людей!

— Разве это плохо, доктор? — Как вам сказать... По существу, вы все время рассчитываете, прикидываете, как бы получше приспособиться к людям, как выдать себя не за того, кто вы есть. И ваши мысли, голубчик, даже правдивые, даже прекрасные, так сказать, пахнут чем-то не тем.

— Вы много себе позволяете, доктор Шнур.

— Простите, голубчик. Так

вот. Эти счастливы, эти, по вашему, ловкачи и пройдохи, меньше всего думают, что о них думают. Они полностью отдаются своему делу, своей любви, своему вдохновению. И значит, для того, чтобы иметь приличный образ мыслей, необходимо, как это ни парадоксально, мыслить! Да-да, мыслить, работать, любить, верить и, пусть это прозвучит банально, создавать! Вот и все. И тогда вы можете смело показываться в обществе.

— И только? — обрадовался я. — Да ведь это совсем нетрудно!

— Вы находите? — рассмеялся доктор. — А что? Пожа-

луй, вы правы. Нетрудно! Радостно! Приятно! Естественно! И главное — полностью соответствует природе человека! Желаю вам успехов!

И вдруг доктор Шнур непривольным движением зажал себе нос.

— Доктор! — завопил я. — Скажите же, наконец, чем пахнут мои мысли?

— Я же сказал, мысли не пахнут, — ответил Шнур. — Просто вы сейчас подумали: «Денег он, кажется, не возьмет». Правильно подумали, но фон у этой мысли был не совсем тот. Ничего-ничего, родной, это у вас пройдет!

## БАОБАБ, ПОМОЩНИК УЧЕНЫХ

Хижина выглядит вполне обжитой: плетеная, с конусообразной крышей из тростника, устланная внутри шкурами зверей. Посредине стоит табурет, обтянутый шкурой леопарда. Около хижины — ступы для проса, сорго и риса, мотыги, мачете, которыми вырубают заросли. В кувшинах стеклянной гладью блестит вода, в корзине гряда тропических плодов. В близ тамтама валяется кокосовый орех, забытый, очевидно, детишками.

Тишина напоминает, что хижина стоит не в саванне, а в музее, точнее, в Щецинском музее Западного Поморья. В Щецин ее привезли ученые из своей экспедиции в Гвинею.

В 1961 году дирекция Польского морского пароходства предложила работникам музея принять участие в африканском рейсе. В Африку отправились двое: доктор Владислав Филиповяк и доктор Виктор Фенрых. Их первые трофеи легли в основу африканской коллекции музея.

Во время этой первой экспедиции у ученых и родился замысел — отыскать древнюю столицу легендарной империи Мали, занимавшей в XIII—XIV веках территории нынешних Мавритании, Мали, Сенегала, Гамбии, Нигерии, Нигера, Верхней Вольги и Гвинеи.

Вскоре по возвращении на родину доктор Филиповяк начал готовиться ко второй экспедиции, на этот раз совместной,

польско-гвинейской. Но где начинать раскопки? Задача была не из легких, ибо, хоть славная столица и упоминалась в документах, ее местоположение не было точно определено. В гипотезах ученых фигурировали три поселения: Кангамото, Галибакоро и Ниани.

В рассказе средневекового арабского путешественника Ибн-Батуты столица предстает большим и богатым городом. Вид нынешнего же поселения Ниани — первого пункта маршрута ученых, лежащего во внутренних районах Гвинеи, — мягко говоря, сильно контрастировал с описанием Ибн-Батуты.

Впрочем, вид других потенциальных «древних столиц» тоже не вызывал уверенности в том, что копать нужно именно тут, а не в каком ином месте.

Было, правда, одно обстоятельство, на которое стоило обратить особое внимание. По преданиям, основание городов в древней империи Мали никогда не обходилось без того, чтобы король не посадил баобаба. В этом баобабе «жил» дух — охранитель города. Ученые заинтересовались баобабами.

Старому баобабу в окрестностях Кангамото было примерно тысяча лет. По сравнению с ним баобаб из Галибакоро оказался просто юнцом — от силы ему было четвереста.

Зато нианскому дереву было семьсот лет, что совпадало с датами легенд и хроник.

Последнее слово, однако, принадлежало лопате.

Раскопки длились меньше месяца. Результаты были ошеломляющими: остатки укреплений, фундаменты домов, дороги, мощенные огромными плитами. Между плитами таились острые железные шипы с зазубринами. По такой дороге не могла пройти вражеская конница. Об этом хитроумном устройстве Ибн-Батута писал: «Благодаря такой изобретательности (жители города) могут спокойно спать, нисколько не тревожась, что неприятель приблизится к городу». Археологи торжествовали. По их мнению, древняя столица была именно здесь, в Ниани, и доказательства тому было больше чем достаточно.

В разгаре новая, третья африканская экспедиция польских археологов: доктор Филиповяк с двумя коллегами продолжает изучать район. Множество экспонатов отправляется в Щецин, где с каждого из них снимается копия, а оригинал отправляется на родину — в коллекции создаваемых в Западной Африке музеев.

А жители Ниани в знак благодарности преподнесли ученым хижину и табурет, обтянутый шкурой леопарда, — знак королевского достоинства.

**ВЕСЛАВ ДАНЕЛЯК,**  
Польское агентство  
Интерпресс — для  
«Вокруг света»

В конце августа прошлого года в Чикаго в гигантском зале «Амфитеатр», что по соседству со знаменитыми бойнями, собрались на съезд делегаты демократической партии США. Официальной повесткой конгресса было обсуждение и выдвижение кандидатур на пост президента США. Однако задолго до того, как политики, старательно ловя взглядом телекамеры, произнесли свои первые речи, густо пересыпанные словами «забота о благе народа», «идеалы свободы и демократии», решения съезда уже были выработаны и согласованы. Делегатам оставалось только подтвердить, что место кандидата в президенты забронировано за Губертом Хэмфри.

Однако эти августовские дни всколыхнули всю Америку. Они вошли в летопись года под названием «чикагское побоище». Молодежь — несколько тысяч человек — приехала в Чикаго, чтобы выразить свое несогласие с политикой правительства, выразить протест против войны во Вьетнаме. На нее обрушились откормленные полицейские, учинившие безжалостное избивание демонстрантов. Потом власти оправдывались, что-де, мол, «распущенные молодые люди сами спровоцировали беспорядки»; говорили о «бунте полиции» (!), которая якобы вышла из повиновения.

Истина состояла в том, что держиморды, хладнокровно данной им властью крушившие черепа тех, кого они считали «красными» и «бунтовщиками», защищали тот же порядок вещей и тот же образ жизни, который превозносили в «Амфитеатре».

Американский журнал «Эсквайр» откомандировал для освещения работы съезда группу репортеров. Среди них был видный французский драматург Жан Жене, поэт Терри Сатерн и писатель Джон Сэк (его повесть «История роты М» публиковалась в № 1 нашего журнала за 1968 год). Вместо отчета о работе съезда демократов у прессы-группы «Эсквайра» получился гневный и язвительный отчет о «работе» чикагской полиции.

Итак, рассказ очевидцев.



## ЧЕТЫРЕ ДНЯ

**ТЕРРИ САТЕРН:** Днем по дороге из аэропорта в гостиницу я видел сцену, какие бывают в фильмах Бунюэля: на грязной безлюдной улице четверо десятилетних мальчишек, вооруженных палками, неистово колотили калеку негра, ковылявшего от них среди куч мусора. Проезжая метрах в пятнадцать от места побоища, мой водитель замедлил ход и не без любопытства принялся наблюдать за происходящим.

— Погодите, — сказал я, — они же не на шутку колотят этого малого. Надо ему помочь.

Водитель, пожалв плечами, неохотно остановил машину.

— Черный порядком нагрузился, — пробормотал он, высовываясь из окна.

— Подайте чуть назад, — посоветовал я, — они наверняка пустятся наутек.

— О-хо-хо, — шофер дал задний ход. — А если нет?

— Это же дети, — сказал я довольно неуверенно. Но события подтвердили правильность моего прогноза. Обрушив на жертву последний шквал уда-



## ЧИКАГО

ров и выкрикивая на высоких нотах омерзительные ругательства, дети оставили беднягу в покое и пустились наутек.

— Дойдешь? — спросил я негра, который шатался от слабости, но все же держался на ногах. Вместо ответа тот схватил пустую, с вмятинами на боках урну с явным намерением всадить ее в борт нашей машины.

— Стой! — пустился я в объяснения. — Я — друг!

Но водитель уже потерял всякий интерес к происшествию и дал полный вперед.

Что-то предвещает это происшествие?..

Шесть вечера. Суббота. Наша ударная пресс-бригада в сборе. Мы встретились в одном из баров отеля «Чикаго-Шератон», и редактор Джон Берендт сразу же дал каждому задание. Получив их, мы нанесли визит популярному здесь деятелю Дэйву Дилинджеру, главе Комитета национальной мобилизации за прекращение войны во Вьетнаме и одному из главных организаторов предстоящих демонстраций. Я был уверен, что этот Дилинджер

окажется старым чудачком, таким затасканным левяком «левее некуда» из другой эры, к тому же потерявшим с ней связь, в крайнем случае — просто штатным организатором. Но нет, он знал свое дело.

— Наши демонстрации будут исключительно мирными, — объяснил он (с даром пророчества у него было туговато) и стал рассказывать о коалиции левых сил и ее программе. Двумя другими главными группами в коалиции были «Солдаты — за демократическое общество» и веселые любвеобильные хиппи. Мудр и кроток был этот самый Дэйв Дилинджер, редактор газеты «Либерейши». Это он возглавил марш на Пентагон осенью 1967 года. Мы сидели и разговаривали в голой, залитой резким светом комнате, окна которой, как нарочно, накануне были выбиты в результате какого-то взрыва на соседнем заводе. Вместо стекла в окна был вставлен тонкий лист пенопласта, хлопавший теперь на ночном чикагском ветерке. Вся обстановка отдавала чем-то фантастическим.

— Мы не ищем столкновений, — сказал Дэйв, — мы просто собираемся протестовать против заранее решенных вещей: против того, что этот съезд закрывает и что Хэмфри как кандидату некого противопоставить. И самое главное, мы хотим выразить нашу твердую оппозицию войне во Вьетнаме.

— Ну, а как насчет Линкольн-парка?

Дело в том, что еще утром мэр Чикаго объявил, что к одиннадцати вечера в парке не должно оставаться ни одного человека. Высокий эдикт наплевал на создавшееся реальное положение вещей: из различных мест Соединенных Штатов Америки в город только что прибыло около двух тысяч молодых людей, в том числе хиппи. Все отели были переполнены делегатами, и молодежи абсолютно негде было устроиться, кроме как в Линке.

— Мы надеемся, что мэр пересмотрит свое решение, — сохраняя прежнюю рассудительность, сказал Дилинджер, — быть может, он поймет, что лучший выход из такой ситуации устроить их хоть как-то... не делать вида, будто этих двух тысяч не существует.

**ЖАН ЖЕНЭ:** В субботу, часов около десяти вечера, молодежь разогнала кострище в Линкольн-парке. Рядом, едва различимая во тьме, собралась приличных размеров толпа, чтобы послушать негритянский оркестр — флейты и барабаны бонго. Индеец со свернутым зеленым флагом объясняет, что с этим флагом они пойдут завтра в аэропорт встречать сенатора Маккарти. Если флаг развернуть, то увидишь на нем нарисованное лицо семнадцатилетнего юноши — одни говорят, что он индеец, другие — что негр, убитый два дня назад чикагской полицией.

Быстрыми, еще незлыми волнами набегают полицейские, гасят костер и разгоняют демонстрантов. О демонстрантах я скажу лишь одно: демонстранты — люди все молодые, какой-то неземной мягкости. По крайней мере сегодня вечером они таковы.

Группа молодежи, поначалу рассеянная полицейской, снова собралась и поет какой-то нехитрый двухсложный напев — погребальное песнопение в память погибшего юноши. Вряд ли дано мне сказать о красоте этого плача, о гневе его, о том, как они его поют.

А за парком, теперь почти совсем темным, видны тяжело нагруженные сверкающим хромом американские автомобили, а за ними гигантские билдинги города, и свет горит во всех их этажах, почему — я и сам не знаю.

Итак, эти четыре демократических дня открывает ночь поминовения молодого индейца — а может быть, негра, — убитого чикагской полицией.

**Т. САТЕРН:** Нам надо было найти поэта Аллена Гинзберга. Выяснилось, что Аллен остановился в отеле «Линкольн», как раз напротив того самого парка. И вот мы мчимся через весь город в самую гущу событий — до комендантского часа остается десять минут. Десять минут до одиннадцати вечера.

Мы поняли, что время уже действительно подошло к одиннадцати, когда приехали на место: голубые, как дети, полицейские уже стояли в три ряда... Дубинки и газ наготове, противогазы, дымовые гранаты, противобунтарские ружья — внушительное зрелище, доложу я вам. Они выстроились у тротуара, окаймляющего парк, совершенно темный парк, если не считать двух-трех костров, мерцавших в глубине. В центре полицейского построения стоял громадный бронированный автомобиль с несколькими крупными прожекторами на крыше. Перед этими пока еще не зажженными прожекторами стояло трое: двое по бокам держали

противобунтарские ружья; из таких ружей стреляют гранатами со слезоточивым газом; тот же, что был в центре, раз за разом говорил в гигантский мегафон:

— Это последнее предупреждение! Очистить парк! Разойтись! Даем вам пять минут. Даем вам пять минут.

Мы вошли в парк. По мере того как глаза наши привыкали к темноте и боязливому свету костров, мы стали различать там, где раньше была лишь черная пустота, фигуры и лица. Трудно сказать, сколько там было народу, но люди были повсюду — вероятно, больше двух тысяч. Примерно половина их двигалась к выходу, чтобы выбраться из парка, другие же просто бродили в полутьме, не зная, что делать.

Аллена Гинзберга мы нашли сидящим в центре группы человек в пятьдесят и делающим свое дело. В данном случае дело это было «Омом»<sup>1</sup>. Под его руководством группа распевала слово «ом» на все лады — с разной интонацией, высотой и громкостью. Нам уже рассказали, что в одиннадцать часов прошел слух, будто полиция входит в парк, и тогда поднялась паника, началось всеобщее и беспорядочное бегство. Гинзбергу, однако, удалось восстановить спокойствие, собрав вокруг себя этих людей и заняв их своим «Омом». Теперь они были сама безмятежность, а мегафон за нами все гудел:

— Последнее предупреждение. Полиция войдет в парк через пять минут. Все оставшиеся в парке будут арестованы.

Было уже около полуночи, наш коллега Берроус посмотрел на свои часы и с той безошибочной пронизательностью, на которую способен он один, пробормотал: «Они идут». В то же мгновение вспыхнули прожекторы на бронированном фургоне, и он стал двигаться на нас. С каждой стороны его сопровождало по сотне полицейских.

— Полагаю, нам пора изменить тактику, — предложил я, поднимаясь на ноги. — Какого черта, ведь мы здесь в качестве наблюдателей, а не участников. Страшно подумать, что вся наша репортаж-бригада будет разделана под орех, так и не побывав в деле.

К этому времени полиция впервые слилась с толпой — с теми, кто действительно пытался выбраться из парка, но был отнесен назад. Теперь повсюду вокруг нас люди бежали. А издали на фоне стены света черным силуэтом надвигалась фаланга размахивающих дубинками людей в касках.

Итак, мы решили, что нам следует уйти из парка, и теперь шли твердым шагом — поразительно, как передается паника. Выходя на улицу, я оглянулся и увидел, что полицейские подошли к тому месту, откуда мы вовремя ретировались, там еще оставалось человек десять или больше. Они не стали их арестовывать — по крайней мере тут же; они принялись колотить их дубинками и прикладами. Они их дубасили, пока те не вставали и не бросались бежать или не начинали ползти в сторону — конечно, те, кто был в состоянии ползти. А уж оставшихся в их лапах полицейские швыряли взад и вперед — от одного фараона к другому (вот так же швыряют на занятиях гимнастикой

<sup>1</sup> «Ом» — магическое слово-заклинание, с помощью которого человек, по учению йогов, достигает «внутренней концентрации» и полной отрешенности от внешней среды. (Прим. пер.).

набивные мячи), — причем ярость полицейских заметно нарастала. Явление это было весьма неожиданным, но впоследствии во все дни побоищ мы наблюдали его на каждом шагу: чем более жестоки и безжалостны были фараоны, тем сильнее нарастала их ярость.

## ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

**ДЖОН СЭК:** «Иди в чикагскую полицию! Носи пистолет и дрыхни до полудня!» А с другой стороны, домой он заявился в четыре утра, в горле жжет от слезоточивого газа, словно объелся красного перца. Глаза режет, устал как собака — ночью опять выкуривали дармоедов из Линкольн-парка. «Опять эти хиппи» или «опять эти йиппи», — пробурчал он своей супруге — Маме, забираясь под простыню с техасским узором из желтых розочек, под одеяло в 16 долларов 92 цента, под распятие на стене. В ответ половина испустила первое попавшееся «Ишь ты!..», лаконично выразив тем самым свое отношение к непрошеным гостям, наводнившим Чикаго. Прошла еще минута, и чикагский полисмен 14020 захрапел.

В полдень Мама стояла на кухне и жарила яичницу с олениной. Дети, давно уже получившие свой витаминизированный завтрак, встретили появление 14020 радостным визгом. Стены гостиной были украшены их цветными фотографиями, выдержанными в розовых и лиловых тонах, — свидетельство ежегодных посещений фотографа: «Улыбайтесь, снимаю!» А в столовой за стеклом — как оракул на этажерке — разместилась семейная библиотека 14020.

Больше всего в этой библиотеке обожал он «Самые любимые стихотворения американского народа». В роковой для страны час кто-нибудь схватит молоток для колки льда и разобьет стекло, чтобы услышать, как поет Америка: «Внемлите, дети мои, и да услышите...» Когда 14020 читал эти строки, перед его мысленным взором появлялся булыжный мост, лошадей в яблоках и фигура всадника. «В год тысяча четыреста девяносто второй...», «Если дело единожды начато...», «Боже, надоумь меня жить, как все люди...». «Что видишь ты в рассветной дымке...» — вот вам экстрат той дистиллированной атмосферы, которой дышит американский мальчишка со дня своего появления на свет.

Читатель, если ты пожелаешь узнать психологию рядового чикагского винтика, достань экземпляр «Самых любимых стихов американского народа» (Гарден-Сити, 1936) и все подобные ему издания, перемешай их зачитанные листы, разотри в порошок, добавь немного воды, размешай хорошенько, разотри все комки, прибавь еще воды, чтобы получилась однородная каша, и поставь в духовку, нагретую до 36,6 градуса. Готово? Это варено называется «полицейские мозги по-чикагски», душа отечественного производства, серое вещество, которым начинена голубая униформа второго по величине города страны, квинтэссенция американского мировоззрения, которому уже стукнуло 192 года.

Чтобы снабжать кровью густую эту кашу, даже самые отдаленные ее клетки, сердца не требуются. Вместе с каждой новой порцией кислорода 70—80 раз в минуту всякий верноподданный американец получает очередной заряд прописных истин и фаршированных правил поведения для менцан среднего класса. Не забудь, что на долю этого

сословия, вместе со всеми, стоящими ниже на социальной лестнице, приходится не такой уж малый процент американцев. «Не забывай мыть за ушами»; «Пожалеешь розгу — испортишь ребенка»; «А если твоя сестра за такого выйдет...»; «Переходи улицу только при зеленом свете»; «Жуй шинат»; «Принимай ванну...» Дети — почитатели цветов! Барабанщик, отбивающий такт вашего марша, — увь! — играет в крохотном камерном оркестре. А сотни миллионов людей поют те самые уважаемые «Омы», что и чикагская полиция! Так что, если эта полиция порой забывает, где законы общества, а где его нравы, то стоит ли ей это ставить в строку?!

— Джон! Завтрак готов, Джон! — кричала Мама сверху, и 14020 поднялся с постели, побрился, влез в свои голубые брюки, ширина которых не изменилась со времен Теодора Рузвельта, нацепил пистолет, дубинку, наручники, газовую гранату и, позавтракав олениной, ушел. «Будь осторожен, Джон!» — крикнула ему вслед, как всегда, жена, и 14020 влился в ряды блюстителей порядка, которых некоторые молодые люди зовут не иначе как «свиньи».

В один из дней заседаний съезда отряд полиции расположился на расстоянии брошенного камня — нет, чуть подальше — от газонов парка, где паслись молодые люди, хиппи, как их звали газеты.

На траве вокруг этой веселой стайки, засоряя зеленые окрестности (все урны из парка Чикаго убрали, так как молодежь разжигала в них костры), валялись печатные органы хиппи и иже с ними.

Члены отряда познакомились с этими материалами не столько, чтобы понять образ мысли гостей парка, сколько, чтобы знать, за что их ругать. Типичной для всей этой литературы была листовка с 18 требованиями. Некоторые из этих требований были настолько здравы, что хоть сейчас заноси их в программу демократов. Например: «9. Покончить с хищническим отношением к природным богатствам». Другие пришлись бы по душе самому лояльному американцу 60-х годов: «7. Отмена платы за жилье, одежду, медицинскую помощь, образование, продукты питания, транспорт и общественные уборные». Но все эти идеи были выражены в такой захватывающей форме, что застреливали в ушах наших констеблей, как резиновые пробки.

В конце дня к ним подъехала девица на велосипеде, крикнула им в лицо: «Свиньи!» — и умчалась, пригнувшись пониже к рулю, как на гонке («Тур де Франс», на случай, если тем придет охота запустить в ее черноволосую головку пистолет 38-го калибра или открыть огонь. В другой раз ветер донес до полицейских ушей какие-то выкрики: «Хрю-хрю-хрю!» Отряд проглотил и это, не утратив веселого расположения духа. Считают, что подобные метафоры, единожды пробив полицейскую шкуру, расправили в конце концов их мстительную душу и что в среду они решили взять свое, — челуха! Ибо «слово не камень и не палка, хребта не перешибет!» — еще одна ценная старая американская истина, и если бы удалось доказать, что принадлежит она Лонгфелло, то эти незабвенные строки можно было бы поместить в следующем, сорок седьмом издании «Сам. люб. стих. а. м. н. а. р.» в разделе «Вдохновляющее». Истина эта занимает прочное положение в черепной коробке каждого полисмена.

Когда в полночь отряд двинулся стрелковой цепью, прикрываясь слезоточивым газом, ведя на поводках немецких овчарок, полисмены держались так же беззлобно, как, скажем, солдаты на вечеринке «Покурим вместе». Они не спеша передвигали ноги, жевали резинку, отпускали дежурные шуточки: «Веди меня в бой, мой храбрый сержант». Гнева в них было не больше, чем в «разгневанном океане», постукивающим о стенку набережной. Осквернение флага, оскорбление его родной сестры, надруганье над монахиней — вот чем можно разгневать истинного американца. А потасовка в Линкольн-парке — это, брат, служба, за это и деньги платят. Ради бога, не думайте, что человеку необходимо рассвирепеть, чтобы применить слезоточивый газ или садануть кого-то дубинкой. В час ночи, когда все было кончено и последний обливающийся слезами нарушитель убежал искать спасения на улицах Старого города, отряд невозмутимо обменивался репликами: «Что вы сказали? Спасибо, сержант! Спички есть?» — и извлекал из своих голубых карманов пачки сигарет разных марок.

У полиции не было оснований тревожиться. Она полагала, что осуществляет волю чикагского населения. Полиции достаточно было послушать шумливых выразителей настроения стопроцентных американцев, окруживших молодых людей в Линкольн-парке подобно тому, как белые кровавые шары окружают микроб. Мужчины в нижних рубашках, женщины в аромате дешевых духов, солдаты со значками ветеранов Вьетнама:

«Ваших братьев и сестер убивают там, а вы здесь на них наговариваете!»

«Если американец погибает за что бы то ни было — все равно за что, — вы обязаны его поддержать!».

«Кто вам дал право размахивать коммунистическим флагом в Соединенных Штатах Америки?!»  
«Я горжусь своей страной, слышите! Это величайшая страна в мире!»

«Вон из нашей страны!»

**Ж. ЖЕНЭ:** День ляжек. Это поистине бесподобные ляжки — в голубом сукне, толстые и мускулистые. Придется, должно быть, туго. Этот полисмен еще и боксер и борец. У него длинные ноги. Это все, что я могу разглядеть, — и должен признаться, я заморожен этим зрелищем. Внизу они спускаются в ботинки. Я не вижу, но легко догадываюсь, что ляжки эти вверху переходят в могучий торс, совершенствуемый с каждой тренировкой в спортзале для фараонов. Дальше идут руки, которым ничего не стоит скрутить негра или вора.

Да, Америка располагает великолепными, божественными полисменами-атлетами, которых часто фотографируют или изображают голыми в порнографических книгах... Но вот ляжки слегка разошлись, чуть-чуть, и в образовавшейся щели я вижу — о, да это вся панорама съезда демократов: знамена, усыпанные звездами, платя, усыпанные звездами, и усыпанная звездами нагота, звездные песни, звездные поля и кандидаты в звезды. Словом, весь пышный спектакль со всеми цветными оттенками — вы их сами видели на экранах своих телевизоров.

Что телевидение не может передать, так это запахи. Поэтому вы не получили полного представления о духе конгресса. Дух этот — или душок? — очевидно, имеет непосредственную связь с духом

закона и порядка. Дело в том, что совсем близко к зданию съезда находятся бойни. И я все спрашиваю себя, откуда такой мерзкий запах и что разлагается — делегаты или вся Америка?

Через несколько часов вместе с Алленом Гинзбергом мы идем в Линкольн-парк, чтобы принять участие в демонстрации хиппи и студентов: в своем решении не спать эту ночь они смиренны, но тверды. И в этом смирении своя поэзия, которой они отвечают на весь этот тошнотворный фарс со съездом.

Неожиданно налетает полиция. На масках застыли наводящие ужас гримасы. Все бегут. Я хорошо знаю, эти звери имеют в своем арсенале другие методы и куда более страшные маски для охоты за черными в гетто. Они успешно занимаются ею вот уже 150 лет. Теперь, закрывшись страшными рылами, спасающими от ими же испускаемого газа, они обрушиваются на белокурых и смиренных ребят. Для смиренных хиппи нет ничего более здорового, более морального, более правильного, чем принять эти удары.

Завтра предстоит еще одна чечевка-демонстрация в Линкольн-парке, ибо этому закону, этому беззаконию должно противиться.

## ДЕНЬ ВТОРОЙ

**Т. САТЕРН:** Сразу же после завтрака, преисполненные чувства долга, мы влезли в машину и помчались к зданию съезда. Точно так же выглядят подступы к какому-нибудь военному объекту — колючая проволока, посты проверки документов и все остальные атрибуты.

Несмотря на все наши мандаты, пройти на конгресс оказалось не так-то просто. Полицейские у входа смирли нас взглядом и отвернулись, так и не удостоив нас своим вниманием.

— У нас все документы в порядке! — крикнул Джон Берендт лейтенанту и протянул пропуска через наши головы.

— Ну да?! — сказал лейтенант, даже не взглянув на них.

У входа раздалось одобрительное ржание полицейских. Подошел другой лейтенант и пожелал узнать, в чем дело. Первый лейтенант просто кивнул в нашу сторону — все было ясно без слов.

— Ладно, пошли, — смилостивился второй. — Я отведу вас в службу безопасности.

Шефы безопасности были определенно из ФБР и ЦРУ — от фараонов их отличала лишь чуть меньшая степень тупоумия. Они хоть как-то пытались скрыть свою неприязнь. После тщательной проверки нам, однако, разрешили идти своей дорогой в зал. Не стоило особенно добиваться этой чести. Ничего интересного там не было, если не считать визгливых выкриков с мест. Было до ужаса ясно, что все уже предрешено и что изменить результат нет никакой возможности. Сам воздух был пропитан этим настроением. Оно было зримо, осязаемо, как в самом бездарном состязании цирковых борцов, не умеющих разыграть даже видимых борьбы. Веселье спектакля, на котором взрослые люди, как дети на дне рождения, скакали и прыгали в разноцветных шляпах и лентах, вскакивали на стулья, визжали и махали руками, не скрашивало мерзости всего происходящего.

По дороге в гостиницу все было подавлено.

— Интересно, что на уме у политиков, — заметил кто-то.

Ответа не последовало.

**Ж. ЖЕНЭ:** День козырька. Мы просто купаемся в небесной голубизне. День Второй играет голубым на касках чикагской полиции. Между мной же и миром встал черный кожаный козырек полисмена, козырек, в бликах которого отражается весь мир. И будьте уверены, в этом ежедневно начинаемом мире царит образцовый порядок. Козырек этот крепится к голубому околышу, сшитому из первоклассного небесно-голубого сукна. Чикаго пытается внушить нам, что вся его полиция, как и этот стоящий передо мной полисмен, сошла с небес. Но кто он, голубой небожитель? Я заглядываю ему в глаза и вижу там лишь голубизну его фуражки. О чем говорит его взгляд? Ни о чем. Полиции нет и полиция есть. Мне не пройти. Козырек знает свое дело. В этом сверкающем козырьке можно себя найти и себя потерять. Мне нужно увидеть продолжение псевдодемократического конгресса, но на моем пути стоит полисмен с черным козырьком и с голубыми глазами.

Ну, а что же конгресс? Он предельно демократичен, он все болтает и болтает; все идет своим чередом, и вы видели это на экранах своих телевизоров; вам это показывали, чтобы скрыть игру, одновременно простую и сложную, игру, которую вы предпочитаете не замечать.

В этот вечер, около десяти часов, часть Америки отделилась от своей американской родины и повисла между небом и землей. Молодые собрались в громадном зале, блистающем наготой своих стен не меньше, чем зал конгресса своей мишурой. Все здесь сама радость. Среди всеобщего энтузиазма несколько молодых людей жгут свои призывные карточки, они высоко держат их над головой, чтобы все видели: солдатами они не будут, но вполне могут стать на пяток лет заключенными. Меня просят подняться на трибуну и сказать несколько слов. Эта молодежь прекрасна. У Гинзберга пропал голос — он слишком долго и слишком громко пел накануне в Линкольн-парке.

Настоящий порядок — здесь, я узнаю его. Это свобода каждому обрести самого себя.

**Т. САТЕРН:** Было решено, что сегодня молодежь удержит Линкольн-парк. Мы попали туда часов в одиннадцать и сразу почувствовали совершенно иную, чем вчера, атмосферу, дух решимости. В помощь полиции начали подходить национальные гвардейцы. Они выстроились на противоположной стороне магистрали, образующей северную границу парка, плечом к плечу — стена длиной в пять кварталов. Противогазовые их маски были довольно внушительны. Примерно в половине первого через дорогу перешел один офицер и в мегафон начал делать «последние предупреждения». Через несколько минут в толпу медленно вошла машина, в которой сидело четверо фараонов с карабинами. Кто-то, возможно переодетый полисмен, пробил кирпичом ветровое стекло. Кстати, одним из самых коварных приемов в ходе всей этой полицейской операции было использование «provokatorov столкновений». Это были полисмены, одетые под хиппи, в задачу которых входило подстрекать толпу на насильственные действия, которые оправдали бы вмешательство полиции, или, если это не удастся, самим совершать подобные действия. Интересно, что эти искусно переодетые шпики сразу бросались в глаза, не узнать их было невозможно. И дело было не в их внешности, они отлично вписывались в толпу, и даже не в том, что они подстрекали на насилие,

а исключительно в вопиющей, до неприличия безвкусной безмозглости, отличавшей каждый их выкрик и каждый их жест.

Как бы то ни было, когда тот кирпич ударился о ветровое стекло, я решил, что нам пора уносить ноги, и мы начали неохотно отступать. Позади нас толпа уже окружила машину и раскачивала ее, пытаясь перевернуть. Тут полицейские пошли в атаку. Они стремительно налетели на толпу, осыпая ударами всех попадавших им на пути, они бросали гранаты со слезоточивым газом через головы бегущих, предоставляя им выбор — идти сквозь газ или ждать ударов. Большинство решилось на газ. Люди выходили на южную сторону парка, не видя перед собой ничего, с залитыми слезами лицами. Никому, казалось, не удалось его избежать — они не жалели гранат, и ветер им благоприятствовал. Мы выбрались на улицу, прилегающую к отелю Аллена, и думали, что спасены, — ведь они хотели, чтобы мы ушли из парка, и мы это выполнили. Неожиданно впереди мы услышали крики, топот людей, мчавшихся нам навстречу. «Они уже близко!» — кричала девушка, охваченная неопишуемым ужасом. За ней бежал паренек лет шестнадцати, пол-лица его было залито кровью. Позади бегущих показались колотившие их полицейские. Мы пустились бежать вместе со всеми, но почти тут же встретились с людьми, мчавшимися в противоположном направлении. «Не бегите туда, там вам не поздоровится», — сказал один из них. Мы оказались в западне, всех охватила паника, потом кому-то пришла счастливая мысль спрятаться в одном из подъездов. И вот мы набились в тесный подъезд, а мимо неся вал полисменов, сметая все на своем пути. Пришлось согнуться в три погибели, чтобы нас не увидели через стекло двери, потому что встречная волна полицейских заливала парадные и лестничные клетки, выгоняя оттуда людей. Из соседнего подъезда уже раздавались крики.

Мы ждали своей очереди. Долго ждать не пришлось. Четверо здоровенных полисменов ввалились в подъезд. На их лицах была ярость, какой я раньше никогда не видел. Женэ потом даже пытался убедить всех нас, что это были вовсе не полицейские, а актеры, переигрывающие свои роли.

— Эй вы, коммунистические ублюдки! — зарычал один из них. — Выкатывайтесь отсюда! Ну, живо! — Он замахнулся дубинкой на ближайшую жертву. Ею оказался Женэ, но тот в своей непосредственности просто посмотрел на него и, пожав плечами, наполовину поднял руки — эдакий галльский жест, выражающий беспомощность. И удара не последовало. Бить нас не стали, а просто вытолкали на улицу и стали обсуждать, вести нас в участок или нет, но события в конце улицы отвлекли их внимание, им стало не до нас. Им ведь нужны были не мы, им были нужны эти дети.

## ДЕНЬ ТРЕТИЙ

**Ж. ЖЕНЭ.** День брюха. Чикаго холит брюхо своих полицейских. Брюхо у них такое, что невольно вспоминаешь, какие боины в этом городе, похожем на триста Гамбургов, поставленных один на другой, в городе, поглощающем ежедневно три миллиона шницелей по-гамбургски. Идеальное полицейское брюхо особенно хорошо смотрится в профиль. Мне преграждает путь брюхо средних разме-

ров. Но от этого оно не потеряло оптимизма, оно знает, что верно приближается к совершенству.

Его владельцы любовно проводят по нему своими прекрасными, но тяжелыми руками. Откуда они все такие берутся? Неожиданно нас окружило море полицейских животов, преградив вход на конгресс демократов. Стены животов. Стены полицейских, изумленных нашим появлением на демократическом конгрессе, возмущенных тем, что в нашей одежде мы не отдали дань условности. Ведь они думают, что мы думаем то же, что и они, а именно, что Конгресс демократов — это святая святых. Рты, находящиеся над этими животами, сбились в кучу, чтобы обсудить обстановку. У каждого из нас есть пропуск на вход в «Амфитеатр». Появляется шеф полиции в гражданском платье; брюхо его при нем. Он проверяет пропуск и удостоверение, но явно, будучи человеком со вкусом и понятием, для меня делает исключение. Мне он протягивает руку. Я жму ее. Вот скотина! Входим в здание съезда, но нас не пускают дальше отделения для прессы. Снова животы полицейских стоят на нашей дороге. Можно нам войти и посидеть в зале? Животы, еще более мощные и внушительные, сообщают, что внутри для нас места нет: в священных этих залах проводится не что иное, как сегрегация против четырех или пяти лиц, белых, мужского пола, имевших дерзость прийти без галстуков; против смешанной группы длинноволосых и лысых, куда затесалось и несколько бородатых. После долгих переговоров мы получаем разрешение войти и сесть. Слышу, как объявляют цифры: это подсчитывают голоса штата Нью-Джерси и складывают их с голосами Миннесоты. Никогда не блистал по части арифметики и теперь поражен, что с помощью такой науки избирают президента.

И наконец, триумф, ликует нечистая сила. Это ее победа — выдвинут Хэмфри! Животы избрали своего представителя. На экранах у себя дома вы видели бледное отражение этого продуманного безумия, слышали это визгливое песнопение, эту безудержную ложь говорящих животов.

Д. СЭК: Линкольн-парк опустел — молодые люди устремились в южную часть города, чтобы пройти перед штабом своего врага, его цитаделью, перед центральным «свинарником» — полицейским управлением. Им бы хризантемы в петлицы, и живописная эта лавина вполне сошла бы за болельщиков, спешащих на футбольный матч. Шли и орали: «Пять! Шесть! Семь! Восемь! Полицию убрать! просим!», «Не хотим полицейского государства!» и тому подобное. У дверей гостиниц застыли в креслах делегаты демократов, проливая себе на платье освежительные напитки, пульс у них упал до 10—20 ударов в минуту.

— О чем ты думаешь, Джон? — спросила леди из Айдахо своего мужа-делегата.

— К чертям собачьим — вот что я думаю! Посмотри вон на того. Он уже месяц как не мыл голову.

«Держись ближе к стене!» — кричали молодые люди, продолжая свой путь вниз по Стейт-стрит (Государственной улице). Особенно обращала на себя внимание одна студентка из Беркли, в комбинезоне цвета хаки, с флягой на ремне. Телекамеры не сводили с нее своих стеклянных глаз. Кто-нибудь из парней все время нес ее на плечах, и она, лучезарно улыбаясь, все время размахивала рукой. «Смотри мне в глаза, полисемен, — сказала она,

когда вся демонстрация была остановлена стеной полицейских. Она говорила смело и так глядела на фараонов, словно была их сержантом. — Мне жаль, что у тебя сегодня сверхурочная работа. Но ты пойми и меня, я ведь хочу сделать людей свободными, ты ведь знаешь, что это значит?» И один из полицейских прошептал ей в ответ: «Я с тобой, сестра». И девушка в защитной форме, ангельски улыбаясь, погладила рукой физиономию этого негра. Но это случилось лишь однажды.

У центрального «свинарника» полиция стояла плотными рядами, локоть к локтю, оберегая пятидесятидолларовые окна и витрины с выставленными в них отпечатками пальцев не то циклопов, не то статуи Свободы. Это странно, но телекамеры тут же накинута на одного лишь человека — он шел впереди, и лицо у него было как у загнанной клячи. То был простой чикагский полицейский Рэй Уолш. Замысел был поистине мудрый — заставить ораву потенциальных нарушителей пройти целых три с половиной мили по Государственной улице, заставить их в конце концов выдохнуться. А что может быть благороднее миссии Уолша: вести революцию, удерживать ее на отведенной для нее половине тротуара Государственной улицы! И все-таки стыдно было Уолшу шагать в ногу с армией, самый вид которой вопил о ее «антиамериканизме». «И это в моем родном городе!» — повторял он встречным полицейским.

Всю неделю, не снимая голубых штанов и тяжелых ботинок, он просиживал вечера перед цветным телевизором, огромным, как полотно Делакура, и смотрел, как на улицах Чикаго молодежь дерется с его товарищами по службе. «И это видит весь мир!» — то и дело восклицал он.

— Эх, — прокомментировала его жена-ирландка, отворачиваясь от бесстыдства, творящегося на экране, к прохладительным напиткам на столике у дивана. — Сегодня я видела среди них даже монахинь, — продолжала она, — и это вместо того, чтобы сидеть дома с четками. Как я могу их после этого уважать!

— Просто все внутри обрывается, — согласился Уолш, отпивая из своего стакана. Еще до того, как кончится эта неделя, он напишет о своих чувствах мэру города мистеру Дейли:

«Дорогой мэр Дейли!

Ваши замечательные планы по приему в нашем городе Съезда демократов сорваны горсткой самозванцев и коммунистов, подстрекающих молодых людей на беспорядки и драки с моими братьями в голубой форме.

Мистер мэр, я — бывший солдат, я воевал в Корее, и мне стоило больших усилий сдержаться и не разорвать в клочья коммунистический флаг и не разделаться со всеми, кто за ним стоит...»

— Только из-за одного этого захочешь уйти в отставку, — говорил он полицейскому Стиву Штукелю. Весь отряд Уолша шагал сегодня в ногу с коммунистами!

— Отслужить там (он имел в виду — во Вьетнаме) два с половиной года, — отвечал Штукель, — и теперь смотреть на все это. «Я устал, — думал он, — я на пределе. Если они себе что-нибудь позволят, я себя сдерживать не собираюсь!»

— Революцию! Теперь же! — кричала молодежь. До центрального «свинарника» оставалось полторы мили.

Если бы не эти выродки, полицейский Уэрс был бы сегодня выходной. Прекрасный солнечный день.

Пошли бы в парк. Леденцы, пастила. Дети на каруселях, поросячий визг. Или — опять-таки из-за своих детей, что поделаешь, дети есть дети, — Уэрц мог бы посвятить этот выходной усовершенствованию крышки унитаза. А то дети без конца бегают в ванную, забывают поднимать крышку и бьют по ней дверью. Поверите ли? Он сменил уже не меньше дюжины крышек, белых, розовых, зеленых и бежевых по 6 долларов за штуку; каждые два-три месяца они слетают с петель, и приходится покупать новую крышку. «Здравствуйте, мне опять нужна крышка для унитаза».

Может, поставить пружину, которая будет поднимать крышку автоматически? Нет, это опасно: что-нибудь не так сработает, и тогда, глядишь, разобьется бачок для воды. Черт знает что, вместо того чтобы заниматься делом, он вынужден в свой выходной шагать вместе с этими людьми и слушать их крики.

Со стороны Уолша, ветерана Кореи, Штукеля, ветерана Вьетнама, и Уэрца было просто подвижничеством так покорно вышагивать весь день под вражеским флагом. Но это был их долг — обеспечить, чтобы марш не нарушил стройности потока пешеходов на чикагских тротуарах. «Помните, — кричал неумолимо в свой мегафон сам помощник начальника полиции, — помните: вы будете арестованы, если займете больше половины тротуара!» В его равнодушном голосе порой прорывалась истинная страсть: так ему была противна мысль, что какой-нибудь пешеход может задержаться в своем продвижении по Государственной улице. Новый союзник должен быть доставлен покупателю, и реклама нового платья должна быть готова к пятцу, и галстук за семь с половиной долларов должен быть куплен до вечера. Найдутся люди, которые скажут, что именно с этих пешеходов нужно было начинать молодым людям, если они в самом деле хотят построить здоровое общество. Восстать против них, мешать их спокойному ходу. Но, видно, не так уж далеко отползли эти молодые люди от американской колыбели, если в эти бурные дни августа они пришли к согласию с чикагской полицией. «Помните, — убеждал их в своем заблуждении какой-то парень в красной рубашке, — мы не против тех людей, которые идут по улице! Идите ближе к стене! Ближе к стене!» — все твердил и твердил он, как штучный торговец, и Чикаго беспрепятственно валил к прилавкам магазинов и к залитым чернилами партам. Парад без всяких инцидентов проществовал мимо пятидесятидолларовых окон центрального «свинарника», оставляя свободной ровно половину тротуара.

## ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Д. СЭЖ: Гром грянул в среду. И никто не бил старшего сержанта кулаком в глаз или коленом в живот для ускорения дела. Все началось с неуважительного обхождения некоего юноши с предметом вполне неодушевленным. «В конце XIX столетия, — пишет Уэллс в «Очерках истории», в главе, посвященной Англии, Франции и Германии, — гораздо менее опасно было смеяться над богом, чем над одним из непонятных его созданий — Англией, Францией или Германией». И вот в среду днем во время митинга оратор вдруг спросил: «Что там происходит?» — и пятнадцать тысяч голов повернулись влево, туда, где какой-то парень спускал кусок шелковистого изделия из нилонина с дере-

вянного столба. Соответствующие строки об усыпанном звездами знамени из известного вам уже сборника всплыли в подсознании присутствующих при этом полисменов. Злоба вошла в сердце каждого полицейского с такой же скоростью, с какой в ту же минуту на другом конце города разошлись куски праздничного торта, приготовленного в честь дня рождения Джонсона.

Спустя две минуты на чикагской траве уже лежал первый пострадавший. К ночи их будет сто. Кровь ручьем струилась по их лицам, похожим на расколывшуюся раковину устрицы. Невидимая американская телеаудитория, в тот вечер не испытывавшая никакой нужды в руководстве «Чем сегодня развлечься?», возможно, не знает, что большинство чикагских полисменов не считало американцами тех, по ком ходили их дубинки; для них это были не американцы, а осквернители красно-бело-голубого флага Америки, не человеческие существа, а африканские шимпанзе. Не из садизма, нацизма, жажды мести, стремления сорвать злость сыпались они удары, а в защиту самых сокровенных идеалов Америки. Как смеет какой-то молокосос спорить, оправдываться, упорствовать в своем неповиновении, когда перед ним стоит голубая колонна носителей американского духа!

Т. САТЕРН: В разгар бойни одному знакомому удалось провести меня мимо швейцара в отель, и мы немедленно направились в бар, окнами выходящий на озеро Мичиган. Отсюда открывалась вся панорама рукопашного сражения, развернувшегося на улице. Все это напоминало какое-то страшное и омерзительное спортивное зрелище. Пары слезоточивого газа проникали даже сквозь запертые двери.

Напиральная толпа втолкнула в бар через зеркальные окна пять или шесть молодых людей. Полицейские бросились за ними.

— Вон отсюда! — кричал один из них. Те и сами хотели как можно скорее уйти отсюда. Но один паренек лет семнадцати идти не мог.

— Я не могу двигаться, — сказал он.

— Ты отсюда уберешься, сукин сын! — сказал полицейский и ударил его палкой по голове. Двое других подхватили парня за рубашку и поволокли по полу к вестибюлю.

Сидевший рядом со мной человек средних лет с ленточкой сторонника Хэмфри наблюдал за этой сценой с брезгливым выражением.

— Чертовы дети, — пробормотал он, — я еще ни одного чистого среди них не видел.

И он оглянулся на улицу, где туча голубых касок и противогазовых масок, размахивая дубинками, врзалась в толпу, явно состоявшую из людей, оказавшихся там совершенно случайно.

— Черт, — ворчал он, — по мне, уж лучше жить в одной из этих стран с полицейским режимом, чем мириться с подобным положением.

Д. СЭЖ: Чикаго умножил ряды не только революционеров, но и реакционеров. И они сильны не только числом, но дубинками, пистолетами, слезоточивыми газами, броневиками, атомными бомбами и, как показал Чикаго, своей готовностью все это применить.

Чикагская полиция еще более укрепилась в своей добродетели: Закон и порядок. — Не шали. — Пожалеешь розгу — испортишь ребенка. — Повинуйся. — Жуй шпинат. — Помогай местной полиции.

Перевела с английского А. РЕЗНИКОВА



**Б**ыло это, как сейчас помню, под Стокгольмом в конце лета, ближе к вечеру. Я ждал уже три часа. Наконец какая-то машина среагировала на мой поднятый палец и остановилась. Водитель с подозрительной вежливостью распахнул мне дверцу и указал на заднее сиденье.

Мы тронулись. Молчим. Ни слова. Сигарету? Не курит. Пытаюсь завязать разговор: не понимает ни по-английски, ни по-французски. А время уже позднее, чтоб мне осваивать шведский. Минут через двадцать водитель оборачивается и таинственно-заговорщицки улыбается мне. Куда мы едем? Загадка...

онно миролюбивой стране. Скорей всего водитель — коммивояжер часовой фирмы...»

Так мы продолжаем катить в молчании. Время от времени человек поворачивается ко мне и улыбается все более приветливо. Даже с каким-то оттенком признательности.

Когда я, наконец, заметил, что это такси, на счетчике было уже двадцать пять крон.

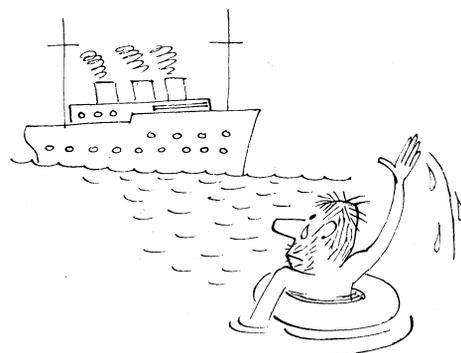
Эту историю я рассказал не для того, чтобы отвратить вас от автостопа. Просто я хотел предостеречь наивных и неопытных пешеходов-путешественников от опасностей, ожидающих их на большой автомобильной дороге.

Те из них, кто воображает, будто автостоп простой, доступный первому встречному спорт, требующий от своих приверженцев лишь умения сидеть развалившись на подушке, совершают тяжкую ошибку. Повторяю: никто не рождается мастером автостопа. Им становятся.

Мне кажется, классической моделью для изучения может служить голландский студент. Как известно, Голландия ежегодно экспортирует в другие страны большое количество тюльпанов, сыра и студентов. В период каникул голландский студент заполняет дороги, и где-нибудь у въезда в Париж с июля по октябрь можно наблюдать подчас колоритные экземпляры. Как правило, это автостопер активного типа, издали являющий водителю белозубую улыбку и приветствующий машину сердечной жестикуляцией. Его и сравнивать нельзя с автостопером пассивного (британского) типа, что торчит, как пень сбоку от дороги, погрузившись в детективный роман. Даже рокотанье приближающегося мотора не в силах вывести пассивного автостопера из оцепенения: он не

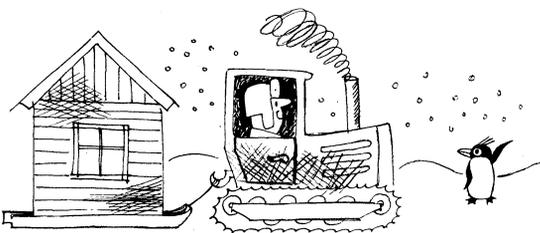
глядя выбрасывает в сторону явную длань, которая бессильно опадает после того, как машина проедет мимо.

Любая классификация неизбежно повлечет разделение по географическому принципу: американец, француз и испанец голодают в одиночку; немец — группой, а итальянец — семьей. Во Франции голосовать парой — значит уменьшить свои шансы на



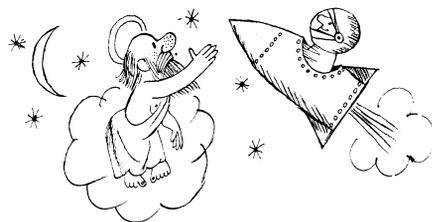
75 процентов. Кроме одного случая: ваша подруга выходит на обочину и привлекает внимание водителя смелым ракурсом, в то время как вы прячетесь за платан.

Ваши шансы остановить проезжающую машину зависят прежде всего от выбора одежды. Она должна быть непритязательной, но вместе с тем внушать доверие. Очень недурно на всякий случай запастись сутаной какого-



Тут мое внимание привлекает странное тиканье в кабине. Тик-так-тик-так. Что бы это могло быть? Бомба замедленного действия? Может, меня везет безумец, решивший взорвать парламент?

Решаю заняться самовнушением: «Ты же в Швеции, традици-



нибудь монашеского ордена — в дождливую погоду она вызовет необходимое сострадание. Очень хорошо дополнить костюм какой-нибудь экзотической деталью — аксессуаром, который выделит вас из массы празднующихся по дорогам. Скажем, ковбойской шляпой (но не в Техасе), тирольской (но не в Тироле), трехцветным колпаком или цветным зонтиком. Недурно держать в руке пальмовую веточку или фикус (но не кактус!).



Рисунки В. ЧИЖИКОВА

Путешественник на чужих машинах должен на расстоянии внушать симпатию. Это качество чрезвычайно важно, и поэтому не пренебрегайте советами, которые я привожу ниже.

Встаньте дома перед большим зеркалом и доведите свою улыбку до нужной степени обворожительности и беззащитности. Затем вытяните правую руку в сторону так, чтобы она образовала угол в 90 градусов с телом (левую руку, если вы собираетесь в путешествие по Великобритании). В этой позе вы непременно должны понравиться самому себе.

Когда вы выйдете на дорогу, вам придется вступить в соревнование со многими конкурентами. Здесь еще нет писаных правил, и поведение путешественника регламентируется традициями. «Не займи места впереди стоящего» — гласит основной постулат. И он выполняется неуказательно. Никаких исключений. В случае нарушения наказание следует немедленно и часто принимает телесные формы.

Путешественнику следует опасаться также великодушных водителей, норвежских забрать

всех желающих. Однажды из-за такого мягкосердечного водителя я оказался с восемнадцатью коллегами в кузове грузовика, ночевали мы в какой-то конюшне, а наутро вынуждены были тянуть соломинку, кто за кем выходит голосовать на дорогу.

Автостоп, как вы догадываетесь, выглядит не одинаково в различных странах. Главное и одинаковое условие — транспорт должен быть бесплатным и останавливаться по требованию. Дальше уже речь может идти о верблюдопосте, катеростопе, собачьестопе и т. п. Принцип остается прежним. Путешественнику следует разве что овладеть этнографическими навыками. Так я заметил, что крик, которым пользуются эскимосы для остановки собак, в Чили пускает лошадей в галоп, заставляет ложиться лам на андских плато, собирает в кучу яков в Тибете, зовет на дойку коров в Британии.

Автостоп пока завоевал лишь одну из четырех стихий. Остаются еще три. Когда-нибудь, я надеюсь, автостоп проникнет в огонь, покорит воду и воздух: появятся кораблестоп и авиастоп.

Впрочем, в Панаме на реке Чукунакве мне уже удалось остановить пирогу с помощью тростины, на конце которой я прикрепил бутылку виски (непечатую), и пересечь экватор в Африке в трех свитерах при температуре минус четыре на борту однодвигательного «дугласа», куда я устроился сопровождающим контейнеры с мороженым мясом.

У меня еще нет опыта с подводными лодками, дирижаблями и спутниками. Ну с субмаринами — это просто вопрос везения. Со спутниками — я еще молод, и мой черед, я верю, придет. А вот с дирижаблями сложнее: их почти не осталось и, боюсь, на мой век уже не хватит.

Да, я забыл упомянуть, что являюсь чемпионом мира по автостопу. Самое трудное в обладании таким громким титулом — это сохранить его. Правда, пока мне нечего бояться: со своими 143 282 километрами я оставляю далеко позади остальных конкурентов.

Так что, пока мне никто не наступает на пятки, я решил сесть и написать мемуары — должен же ведь пригодиться мой опыт. А на вырученные деньги, глядишь, куплю машину.

Перевел с французского М. БЕЛЕНЬКИЙ

## ЗАГАДКИ ПРОЕКТЫ ОТКРЫТИЯ

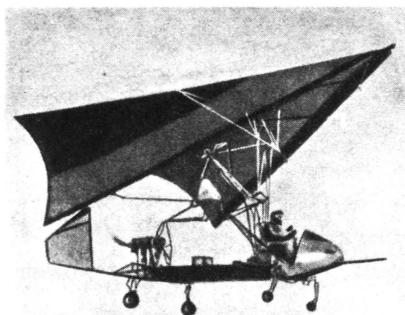
### «СРЕДСТВО» ОТ... КИТОВ.

Как показывает статистика, столкновения океанских судов с китами не так уж редки. Случается, эти столкновения происходят по вине китов, атакующих корабли. И если для крупных судов водонизмещением в десятки тонн подобные встречи абсолютно безвредны, для кораблей малого тоннажа они редко проходят бесследно.

Ученые неоднократно делали попытки найти какое-то средство, отпугивающее китов от кораблей, не подозревая даже, что оно, по сути дела, уже существует. Английские гидрографы установили, что киты не выносят колебаний высокой частоты в 15 000—60 000 герц. Но как раз на этих частотах работают обычно судовые эхолоты. Значит, чтобы обратить в бегство появившегося рядом с кораблем морского исполина, достаточно только на какое-то время включить судовой эхолот.

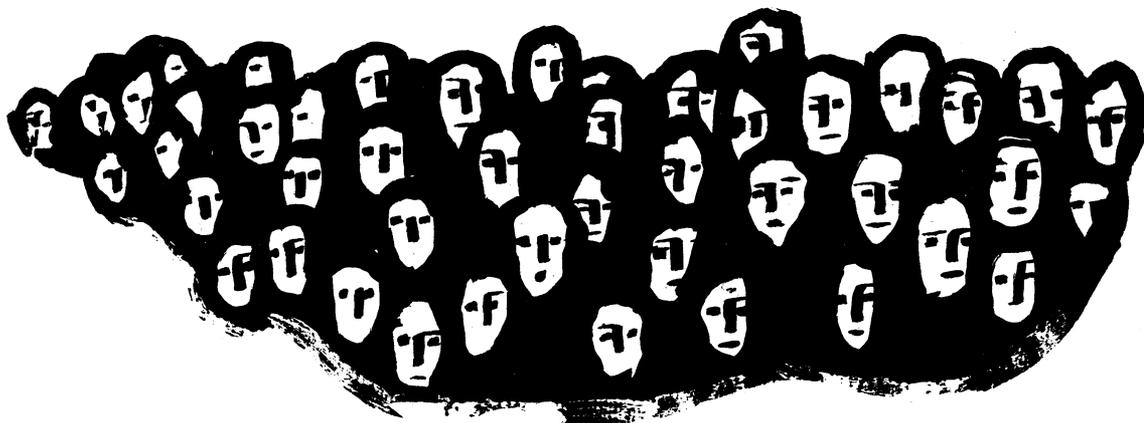
### АВТОР — ЛЕОНАРДО ДА

**ВИНЧИ.** Недавно на самолетостроительном заводе в Сан-Диего, штат Калифорния, был построен удивительный летательный аппарат. Автор работал над проектом пять веков назад, но осуществить его так и не смог. Имя конструктора — Леонардо да Винчи. В модели были тщательно соблюдены все пропорции чертежей великого итальянца, учтены его рекомендации. И вот машина, сделанная из пластика, была поднята в воздух, причем с грузом. В свободном парении она показала себя прекрасно.



ГАНС БЁШ

# БЕЗУПРЕЧНОСТЬ



## Фантастический рассказ

**М**ы подъехали к перекрестку. Никак, который шел впереди, замедлил ход и остановился на мощеном съезде. Широкие тротуары по обе стороны шоссе вопреки правилам были забиты грузовиками и автофургонами; по боковым улицам осторожно маневрировали автокары. Метрах в ста пятидесяти стояли полицейская машина с громкоговорителем и «Скорая помощь». Мы высмотрели местечко перед палисадником, еле пробрались туда и вылезли из машины.

Застекленные лестничные клетки домов до самых крыш были забиты любопытными. Из окон офиса высовывались ученицы школы профессионального обучения. Они причесывались и прихорашивались, поглядывая в свои зеркала, кивали и улыбались полицейским. Захрипел громкоговоритель.

«Девять минут», — сообщил он. Потом: «Еще семь»...

Мы протиснулись вперед,

минуя скопища служащих и толпы школьников, пришедших сюда целыми классами. Они коротали время, гнусаво распевая церковные гимны. Около указателя перед перекрестком нас остановил дряхлый старик. Он подставил к столбу деревянный складной стульчик со спинкой и попытался на него взобраться. Мы помогли ему и спросили, что тут, собственно, происходит.

— В 15.23 при левом повороте, — прошамкал старик, — здесь должна произойти катастрофа. Сейчас 15.20.

Школьники младших классов уселись на обочине. Мастеровые и гимназисты вышли из тени подъездов, покинули навесы киоска и сколоченной наспех будки с мороженым и встали плотными рядами за школьниками.

— Вот почему хорошо жить на пенсии, — разглагольствовал возвышавшийся над нами старик, — всегда можно заранее занять удобное местечко!

И правда, перекресток был от него не более чем в пятнадцати шагах. Громкоговорители скрежетали; мы отчетливо видели сидящего в машине полицейского, разевавшего пасть над микрофоном.

«Осталось две минуты», — напомнил он. — «Просим не мешать санитарам и подчиняться распоряжениям полиции. Выход на проезжую часть после транспортировки раненых запрещен». И уже без всякой необходимости добавил: «Просим публику сохранять порядок. Спасибо за внимание».

Наш знакомый старик, стоявший на спинке стула, потребовал свой колпак, который он свернул из газеты и в спешке забыл на сиденье. Мы подали

---

Швейцарский прозаик и поэт Ганс Бёш известен и как автор фантастических рассказов.

В некоторых из них писатель в острой сатирической форме разоблачает пороки, присущие буржуазному обществу.

ему колпак. Не отрывая взгляда от перекрестка, он нахлобучил его на голову. Шоссе теперь было пусто, словно выметено, — сверкающая лента, зажатая густыми рядами любопытных. Запоздавшие автомобили еще пытались прижаться к тротуарам. Люди вылезали из них и стекались к перекрестку. За полторы минуты до назначенного срока полицейский призвал всех к спокойствию.

— Так не делают, — забубнил старик. — Это далеко не безупречно по отношению к автомату, попросту подвох. Всякое вмешательство нарушает предпосылки, на которые опирались вычисления. Тем самым искажается и результат. Я бы не удивился, — продолжал старик, — если в последний момент вычислительный автомат попросту отменит свое предсказание.

Конечно, старик знал толк в деле, понимал, на что способна такая машина. Наверно, прежде он занимался страхованием от несчастных случаев или служил где-нибудь в метеорологическом бюро. Но у нас не было времени, чтобы это выяснять.

Со стороны Зофингена приближался большой транспорт. Похоже, это была нефтяная цистерна с прицепом. Мотор ревел. Этот рев, сильный и монотонный и все-таки мягкий, бархатный, неподвижно висел в белой прозрачной тишине. Разносчицы, сновавшие в толпе с подносами, молча получали свои деньги. Их шеф, наладивший под навесом торговлю мороженым, увидел, что покупателей все меньше, залез на тележку и всматривался в даль. Мальчишки-газетчики, только что размахивавшие специальными выпусками с предсказаниями экспертов о подробностях катастрофы, умолкли и пробрались, потеснив детей, на обочину шоссе. Они встали рядом с полицейскими, которые жмурились от солнца и неотрывно следили за приближавшимся транспортом, крепко зажав в зубах свистки.

За тридцать секунд до срока уже можно было прочесть надписи над кабиной. Мы видели и шофера за рулем. Ему было под сорок; коричневое, круглое лицо, и сам скорее всего коренастый, крепкий. Закатав рукава и расстегнув во-

рот рубахи, он курил дешевую, заостренную на конце сигарку из тех, что курят тут почти все. Правое стекло кабины он опустил и иногда высовывался, прислушиваясь к погрохатывающему сзади прицепу. Скопление людей и машин вдоль шоссе его явно обеспокоило. Он выпрямился, окинул быстрым взглядом ряды полицейских и, покосившись на спидометр, прогрохотал мимо, окутанный горячим дыханием попутного ветра. Фотографы подняли свои аппараты. Камеры, установленные в кузове грузовичка, повернулись вслед.

Какая-то женщина торопливо шла через улицу, сутулая, седая, с двумя большими желтыми плетеными рыночными сумками. Чтобы лучше видеть, мы забрались на сиденье стула. Над нами что-то раздраженно бурчал старик, с сомнением трясая головой: женщина, мол, без труда успеет пересечь шоссе перед транспортом. Он оказался прав. Дети освободили место, чтобы пропустить ее на тротуар.

За женщиной бежала крохотная собачонка. Перед самым тротуаром она остановилась, покружилась на месте и повернула назад, вероятно испугавшись детской сутолоки или скрежета тормозов, которые нажал и тут же отпустил водитель. Собачонка отпрянула прямо под колеса машины. Маленькая девочка бросилась вперед и схватила ее. Доли секунды золотистая макушка еще сияла на солнце.

Напуганная собачонка добежала почти до нас. Раздались пронзительные свистки. Спровоцируемая ревом громкоговорителей, умчалась «Скорая помощь». Хозяин снова торговал своим мороженым.

— Надо еще учиться и учиться, — ехидно отметил старик. Крепко опираясь на нас, он слез со своего стула.

— Где же левый поворот, левый поворот где? Вы видели? Он сложил стул и тут же добавил: — Я — нет. Не было никакой катастрофы при левом повороте. А ведь именно она и была предсказана. Время определено верно, даже абсолютно точно; но, господа, где же левый поворот?

И он торжествующе поглядел на нас:

— Обычная рядовая катастрофа при прямом наезде. Те-

перь изучат факты и должны будут еще раз пересмотреть и уточнить входные данные. Я всегда говорил, что детали, мелочи значат все. А кроме того, — заключил он, — необходимы еще кое-какие дополнительные меры. Вычислитель сбит с толку всем этим заранее организованным сборищем, всей этой бессмысленной публичностью, я утверждаю: он был сбит с толку, его бессовестно запутали. — По-прежнему ехидно ухмыляясь, старик удалился.

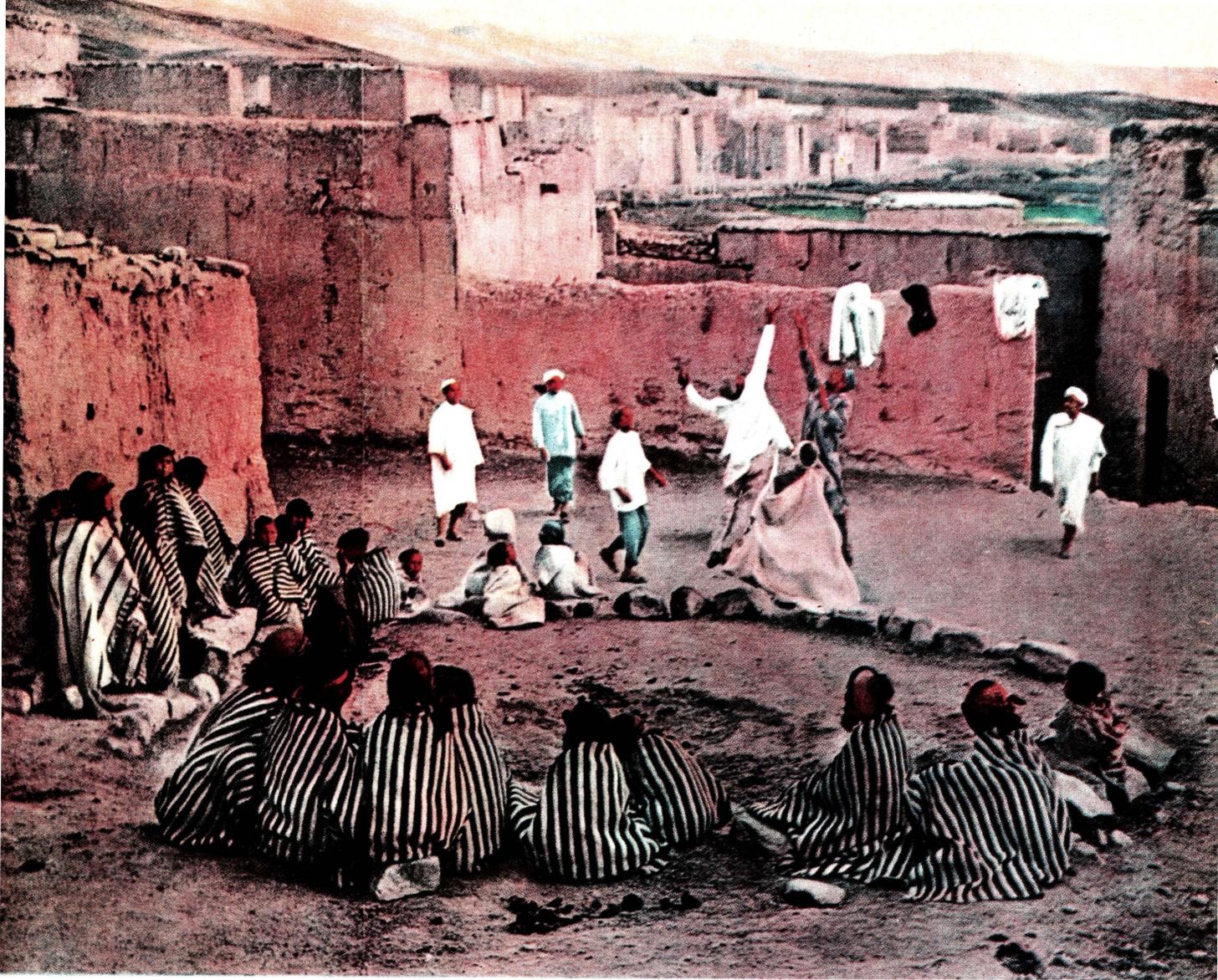
Подъезжая к Олтену, мы начали спорить о необходимости постановления, которое обеспечило бы в будущем абсолютную бесперебойность движения и тем самым гарантировало неискаженные вычисления. Мы хотели довести свои соображения до сведения властей еще на этой неделе. Однако в конце концов нам пришлось признать, что если в случаях, подобных происшедшему, устранить скопление людей, чтобы исключить из подсчета все возможные помехи, то в нужный момент на месте не окажется не только толпы любопытных, но среди них и ребенка — причины катастрофы. То есть катастрофа может и не произойти. Вспоминая случившееся, мы должны были признать, что ребенок появился там как раз благодаря публичности и скоплению народа. Таким образом, вычислитель явно учел все помехи такого рода.

А значит, решили мы, заключая логическую цепь наших подчас весьма сложных выкладок, значит, на него не повлияют ни наши постановления, ни наша личная безупречность.

Перевели с немецкого  
Н. и Д. ПАВЛОВЫ

Рисунки А. РУБИНИНА





## ИХ НАЗЫВАЛИ МАВРАМИ

А. ДРАНОВ

До края снежного поля оставалось два шага, когда мул остановился и, скучая, посмотрел себе под ноги. Он стоял, как стоят музейные чучела доисторических животных, и смотрел, как смотрят со старинных картин извержившиеся в жизни мудрецы.

Саид только пожал плечами и растянулся на земле, показывая, как глубоко он презирает мулов.

Роже готов был взорваться. За каким чертом он поперся сюда? Романтические бредни, которые пристали лишь мальчишке...

Господи, а сколько трудов стоило организовать экспедицию! И как теперь отсюда выбираться, ведь до Тинерхира путь неблизкий, а отчет о состоянии тинерхирских замков Департамент древностей потребует в срок, зря, что ли, они денежки давали?

Все началось с фотографий плит, бронзовых плит, поднятых со дна Средиземного моря. Плиты были покрыты непонятными надписями. Знакомый археолог рассказал, что, возможно, надпи-

си сделаны на берберском языке. Вот этот, скажем, значок — ни дать ни взять рисунок, который женщины племени Аид-Хадиду выкальвают на подбородках.

Роже интересовался берберами давно. Конечно, неудобно признаться, что этот интерес рожден был «Атлантидой» Пьера Бенуа. Эта книга была произведением фантастическим. В ней описывались приключения французского офицера, попавшего в горах Сахары в неприступный замок, где жила повелительница потомков



Плотно утопанная площадка, ограниченная кругом из камней, — общинный ток. Здесь молотят зерно, здесь собираются на совет старики, сюда приходят вечером женщины поболтать с соседками, посмотреть, как мужчины играют в мяч.

Раз в неделю берберские хозяйки в горах Атласа пекут ячменный хлеб. Семьи у берберов большие, и хлеба надо немало. Плоские буханки, сложенные в высокие корзины, хранятся в кладовых. Хлеб пекут особым образом. Тесто шлепают на раскаленный камень, а сверху непрерывно водят горячей головней. Тесто запекается одновременно сверху и снизу. Твердая корочка равномерно облекает хлеб со всех сторон, и он долго не черствеет.

древних атлантов. Атлантида-де находилась не между Америкой и Африкой, как утверждают одни, и не в Средиземном море, как доказывают другие, а на севере Африки, в том числе и в Сахаре. Берберы и сахарские туарег — вот единственные потомки атлантов.

Конечно, это было крайне далеко от науки, но все таинственное так привлекало Роже, что он углубился в литературу о берберах. Специальная литература, написанная далеким от изыщества языком, сообщала, что среди двадцати трех миллионов человек, населяющих Магриб, живут шесть миллионов берберов. Древние греки называли берберов

ливийцами, а римляне — маврами. Берберы говорят на языке, не похожем на арабский, но сходном с языком сахарских туарегов. По мнению ученых, язык гуанчей, когда-то населявших Канарские острова, тоже состоял в родстве с берберским. Сохранился берберский язык только в Атласских горах, окаймляющих снежной цепью Сахару на западе. Во всех других местах Северо-Западной Африки берберы настолько тесно смешались с арабами, что установить между ними какое-то различие невозможно.

В общем книги содержали в себе массу полезных знаний, однако в них не было ни малей-

шего намека на что-либо напоминавшее красивые гипотезы знаменитого автора приключенческих романов.

Фотографии плит подлили масла в угасавший огонь.

Потом он познакомился с Саидом из племени Аид-Хаддиду, и вопрос был решен — в Атлас, к берберам...

Саид с двумя односельчанами занимался в городе мелочной торговлей вразнос. Каждый год, рассказывал он, когда в полевых работах наступает затишье, мужчины по двое, по трое уходят в города на заработки. Кто занимается строить мельницы, потому что горцы слынут в Марокко лучшими в этом деле умельцами, кто торгует в городах шерстью и разными деревенскими поделками.

Горцы кончали уже свои дела в городе, потому что приближался праздник весны Аид-эль-Кебир, после которого начиналось хлопотливое для крестьян время. Нужно будет вспахать землю и перегнать стада овец на горные пастбища.

Саид готов был провести Роже в свою деревню и потом оттуда до Тинерхира.

Сначала пришлось приобрести мула. Потом выбрать день, когда можно отправиться в путь. Это зависело от многих причин, сложную взаимосвязь которых Роже понял не до конца.

Во-первых, нельзя было начинать путешествие ни в пятницу, ни в субботу. Пришлось ждать воскресенья. Когда они уже было собрались, Саид увидел, выйдя из дома, одинокую ворону.

Ворона предвещала несчастье.

Наоборот, две вороны вместе или шакал, замеченный у порога, сулили предприятию полный успех.

По счастью, на следующий день никакие приметы не препятствовали путешественникам. Начался бесконечный путь по пустыне.

...Охряные краски пустыни сменились белизной снежного поля, и это поле казалось нескончаемым. Выше были рыжие голые горы. Наконец, за одним из бесконечных поворотов узкой тропы им открылась деревня.

Деревня напоминала средневековый замок: окруженные каменной стеной дома, сбившиеся тесно, настолько тесно, что издали они выглядели одним фантастическим домом-крепостью. Камышовые крыши, казалось, на-

лезали друг на друга, выпирая из-за стены.

А сама деревня была рыжего цвета, как бы продолжая невысокую рыжую гору, которую она венчала. И другие горы, заполнившие горизонт, были светложелтые.

...Потом они перебрались через шаткий мост. Потом Роже потерял ориентировку в сумятице кривых крутых улочек.

Когда Роже Бертен переступил, наконец, порог дома Саида, то только присутствие молодой хозяйки и остаток чувства собственного достоинства удержали его от того, чтобы не рухнуть на глиняный пол. Ему уже ничего не хотелось. Саид объяснил, что привел гостя из долины, что тот хочет посмотреть, как празднуют Аид-эль-Кебир, и пожить у них несколько дней. И ни слова больше — ни о том, кто и откуда этот неожиданный гость, ни о дорожных приключениях. С принужденностью, которой Роже никак не ожидал от восточной женщины, жена Саида накрыла на стол, вернее на пол, потому что никакого стола не было, и напоила мужчин мятным чаем, который здесь, по обычаю, обязательно пьют перед едой; затем она внесла глиняное блюдо, покрытое высокой крышкой, сплетенной из соломы, а потом оставила их наедине с тушеной козлятиной и репой.

Вот он и попал к еще «не тронутым цивилизацией» берберам. Забавный малый этот Саид! Еще в дороге он рассказал о своей женьтибе.

Оказалось, вопреки традиции, отдававшей выбор жениха в руки родителей невесты, Саид похитил свою возлюбленную и на муле привез ее к себе в деревню. Здесь, вдали от городов, высоко в горах, под немилосердным солнцем, среди людей своего племени, они жили уже пятый год.

— Сколько же ей лет? — спросил Бертен.

— Девятнадцать, — ответил Саид.

Роже уже не чувствовал усталости; она сменилась радостью и возбуждением: эта необычная обстановка, смуглый бербер в чалме, его рассказ, праздник, который ему предстояло увидеть, и прохлада наступающего вечера, и вкусный хлеб...

— Пойдем, — сказал Саид.

Они вышли из комнаты. Из двери невысокого строения рядом с домом полз серый дым.

У жаровни из грубых камней сидела жена Саида с горячей головней в руках. Огонь освещал ее лицо, оставляя темной одежду и мерца в янтарных бусах. На горячем камне, запекаясь снизу, лежало тесто; женщина медленно и однообразно, как во сне, раскачивала горячей головней над караваем, и он постепенно розовел, покрываясь твердой хрустящей корочкой; сытный запах свежеспеченного хлеба вперемешку с дымом и жаром тлеющих углей кружил голову как дурман.

Они вышли на улицу. Вечер уже наступил; горы стали фиолетовыми, небо потемнело, и земля и дома стали одного цвета.

Дома, сложенные из камней, стояли без видимого порядка. Их камышовые покатые крыши придавлены были плоскими камнями. Невдалеке полуголый мальчишка, покрикивая, гнал большое стадо овец; в багровых отблесках уже невидимого солнца они, мешая друг другу, ссыпались со склона холма на деревенскую улицу.

— Что это у него на голове? — спросил Роже. Ему показалось, что волосы босоногого пастуха были завязаны в косички и собраны в узел на макушке.

— Он еще маленький, — сказал Саид, глядя вслед пастуху. — Когда станет мужчиной, он будет вот таким. — С этими словами Саид снял чалму — голова его была совсем голая.

— А как же он справляется с таким большим стадом?

— Разве с овцами надо справляться? — в свою очередь, удивился Саид. — Их нужно только считать. Вот гнать овец в горы на свежую траву — это дело мужчин. В остальном овцы обходятся сами. Весной толстеют, зимой худеют. Хорошей земли у нас мало, и чтобы мы могли жить, аллах создал овец.

Далее выяснилось, что аллах дал одним гораздо больше овец, чем другим. Те, у кого овец мало, помогают пасти скот более богатым соседям. За это они получают каждого пятого ягненка.

Землю община делит наново каждые семь лет.

За каменной стеной, ограждавшей селение, слышны были звуки песен, крики и стук аллуна — берберского барабана. Прямо на земле, вплотную друг к другу сидели мужчины — все в чалмах и полосатых хенифах,

как и Саид; пальцами они отбивали на аллунах ритмичный и монотонный аккомпанемент. Перед ними, раскачиваясь в ритме не то песни, не то танца, в кругу стояли босоногие певцы, среди них было много женщин. Разбившись на две группы, они, стоя на одной ноге, попеременно хором пели. Содержание песни оказалось, как объяснил Саид, вполне «злободневным». В песне переживались события прошедшего дня — вот почему среди участников и зрителей царило такое оживление. В песне выясняли отношения, задавали вопросы, получали ответы, подтрунивали, рассказывали, спорили, смеялись.

— Это праздник? — спросил Роже.

— Нет, — ответил Саид. — Праздник будет завтра. Они просто собрались попеть.

Пение продолжалось до бесконечности. Казалось, эти люди никогда не устанут. Было уже совсем темно, но они продолжали петь, танцевать, кричать и прыгать. Дети были тут же; их мало, правда, трогали песни взрослых; они играли в чехарду.

На камне сидел, наблюдая, как веселятся другие, белобородый старец. Это был марабут — деревенский «святой». Такой «святой» живет в каждой горной деревне. В горах трудно соблюдать все строгие предписания ислама, и крестьяне частенько грешат: работают в пятницу, пропускают намаз и даже не брезгают мясом дикого кабана. Зато марабут строжайше блюдет все запреты: чистый от грехов, он как посредник между горцами и аллахом. За это община обрабатывает его поле и пасет его овец.

Марабут оказался общительным стариком: словоохотливо принял рассказывать о завтрашнем празднике.

— Он говорит, что Аид-эль-Кебир — это праздник овец, — перевел Саид. — Когда-то пророк Авраам решил принести в жертву аллаху своего сына, но, когда нож был уже занесен, всемилостивый аллах заменил ребенка овцой.

Марабут замолк. Прикрыв глаза, он слегка покачивался, вслушивался в ритм аллунов.

— Что с ним? Не хочет больше рассказывать? — спросил Роже вполголоса.

— Не знаю, — так же вполголоса отвечал Саид.

— Почему же, — внезапно

произнес марабут по-французски, — я могу рассказать вам про наш народ.

— Вы говорите по-французски? — удивился Роже. — Где вы научились?

— О! — восхищенно воскликнул Саид. — Чего только не знает наш марабут. Он может говорить на любом языке!

Но марабут снова замолк.

По-прежнему рокотали аллуны. Два женских голоса вели нескончаемую песню.

— Вы называете наш народ берберами, но сами себя мы называем мазиг. Никому не удалось нас покорить. Еще султан Ахмед аль-Мансур говорил, что людей мазиг надлежит держать в цепях и железных ошейниках, чтобы усмирить их. Нашу страну, наши горы султаны называли «бияд ас-сиба» — «страна мятежа».

Наши далекие предки не знали истинной веры, но когда познали ее, то понесли повсюду, куда добежали их кони. Они переправились через море и подняли зеленое знамя в Европе. А если бы они пошли дальше, кто знает, может быть, и ты был бы мусульманином... Ты знаешь, что в Испании на стенах старых домов можно найти надписи на языке мазиг?..

«Боже, — подумал Роже, — что за удивительный старец! Подумать только: в диких горах, черт знает как далеко от любого цивилизованного места, а говорит по-французски, знает про Испанию, про то, что мавры дошли до Пиренеев и лишь чудом не захватили Францию. Ну не удивительно ли это? Вот они, тайны Африки: сидит такой старик, никуда не выезжая из своей деревни, и все знает!»

И Роже представился замок в горах, огромные полутемные залы и множество старцев вроде марабута, сидящих на коврах, и старинные рукописи, которые (кто знает?), может быть, читал Пьер Бенуа...

Действительность оказалась прозаичнее — словоохотливый старик все рассказал сам. Французский язык марабут знал, потому что в молодости служил в солдатах, а сведения по истории арабского халифата почерпнул из школьного учебника истории, который попал ему в руки во время службы в армии.

Кое-что о прошлой славе народа мазиг он, правда, слышал от своего деда; существование же городов в пустыне марабут категорически отверг.

Между тем наступила ночь. Низкие звезды обсыпали небо, деревня растворилась в темноте. Аллуны смолкли. Роже с Саидом поспешили домой. Жена Саида по-прежнему хлопотала по хозяйству: в руках у нее была дробилка для ячменя — толстая короткая палка с каменным наконечником. «Когда же она будет спать?» — спросил себя Роже, но не успел найти ответа, ибо уже сам спал безмятежным сном на приготовленной ему циновке.

Рассвет еще не наступил, когда Саид, засучив шаровары, взвалил на плечо тюк с одеждой всей семьи.

Деревня уже проснулась — все было в движении. У ручья собрались мужчины. Они развязывали узлы, доставая оттуда белые праздничные бурнусы и женские платья. Намочив и хорошенько намылив одежду, мужчины разложили ее на гладких камнях у ручья и дружно стали приплясывать на ней босыми ногами, жестикулируя и выкрикивая в ритме импровизированного танца.

Через полчаса пляски вся одежда была чистой.

День занимался так быстро, что уже часа через два стало припекать. Горы казались раскаленными, вздымаясь рыжими вершинами в голубое небо. Солнце все больше заливало деревню. Слышалось блеяние овец, крики, всюду сновали полуголые мальчишки, мужчины надевали свежевстиранные бурнусы, женщины в длинных белых платьях украшали себя янтарем. Старики в ослепительных чалмах с посохами в руках торжественно вышагивали по направлению к холму на краю деревни, где должна была происходить праздничная церемония. За ними потянулась вся деревня. На подбородках женщин синела татуировка — не то иероглиф, не то какой-то рисунок. Саид — праздничный и взволнованный, как и все, — торпливо ответил на очередной вопрос гостя:

— А, да это знак племени. Он показывает, что наши женщины из племени Аид-Хаддиду.

И ничего больше не смог Роже узнать об этой татуировке — последнем, что сохранилось из таинственных букв языка, на котором говорят, но уже давно не пишут племена берберов.

Несколько минут спустя они были на месте. Праздничная толпа под легкое стрекотание не-



Какого рода-племени берберская женщина, можно узнать, взглянув на ее подбородок, на котором вытатуирован знак племени. У женщины, которую вы видите на снимке, на подбородке «написано»: Аид-Хаддиду.

Горные деревни отделены одна от другой снежными полями, глубокими пропастями, стремительными реками. Лишь мосты связывают горцев с внешним миром. Наверное, после марабута самый уважаемый человек в общине игшар — смотритель мостов. Эта почетная обязанность передается от отца к сыну.

Игшар не знает покоя и каждый свой день начинает с обхода общинных мостов: ведь ветры, разливы рек, снегопады могут их повредить.

Мосты разделяются на три категории в зависимости от прочности: «мул с грузом», «десять мулов» и «караван».

Если какой-нибудь мост нуждается в ремонте, игшар сообщает старейшинам, и те беспрекословно выделяют ему для работы столько человек, сколько он потребует.

По новому мосту смотритель с сыновьями первые прогоняют тяжело нагруженных мулов. И только когда игшар убедится, что мост надежен, по нему могут ходить остальные.

изменных аллунов усеяла холм, как стая белых птиц. Здесь были все — старики, расположившиеся длинной сомкнутой цепью вдоль склона, женщины, дети. Марабут, одетый в черное, руководил церемонией. По его знаку аллуны умолили, и толпа стала на колени лицом на восток. Из рук в руки переходила палка: прикоснувшись к ней, человек отдавал ей свои грехи. Потом палку передали марабуту. Тот что-то проормотал над ней и отбросил далеко в сторону. Все грехи деревни были, таким образом, выброшены.

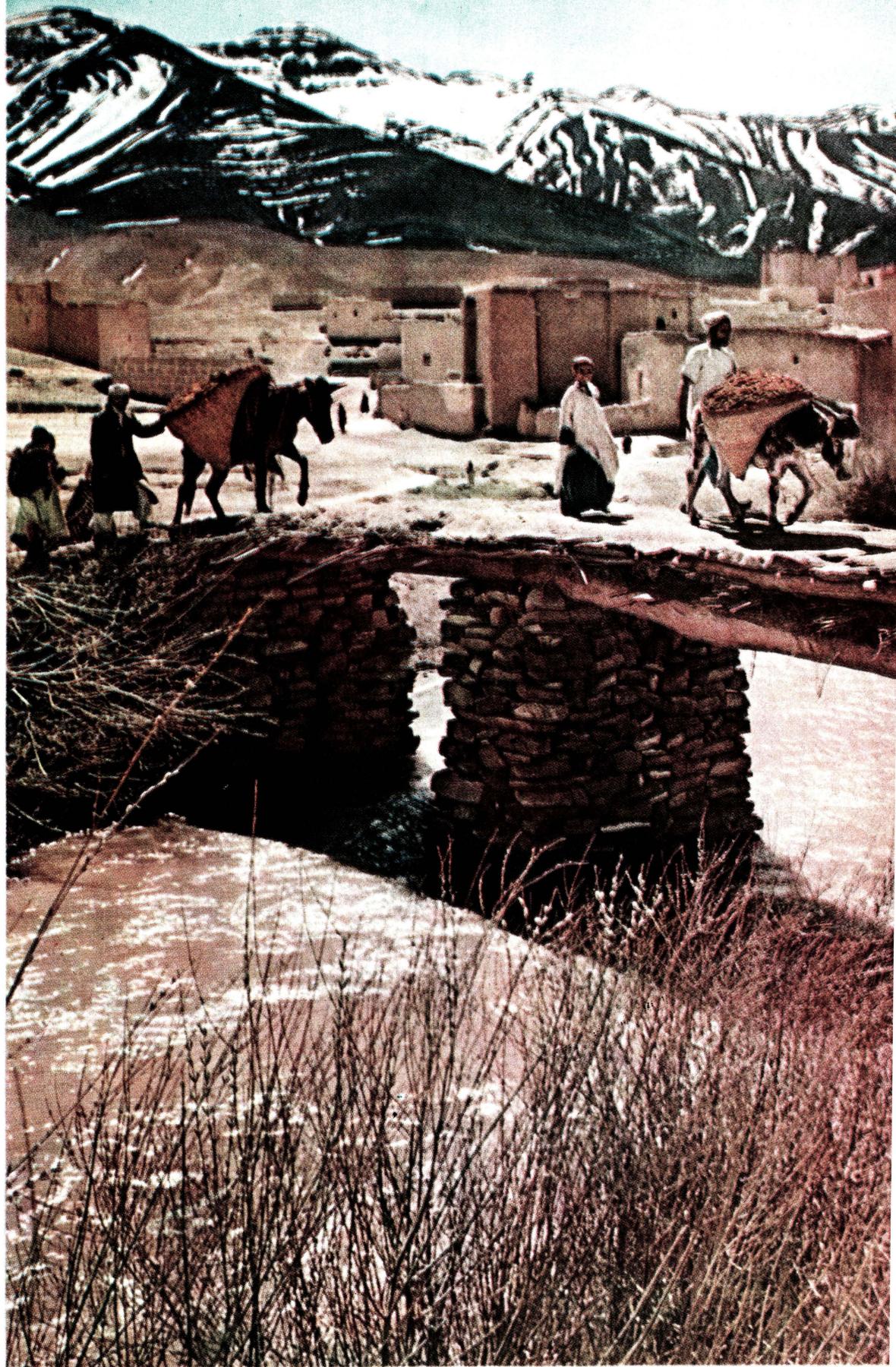
Солнце пекло немилосердно.

Пригнали стадо «избранных», аккуратно подстриженных овец, вымытых и вычищенных, как для выставки.

Овец накормили (тем временем марабут, стоя лицом к востоку, отбивал поклоны, что-то быстро бормоча) и спустя некоторое время торжественно предали закланию. Ритуал на этом закончился. С пением и танцами берберы разложили костры, и женщины принялись жарить мясо заколотых животных. Загремели аллуны, и Аид-эль-Кебир — праздник овец, праздник весны — начал спускаться вниз, в деревню...

Женский танец «бах» исполняют только по большим праздникам.





# В СТРАНЕ НЕТОРОПЛИВЫХ

**А** возвращался на базу экспедиции из последнего маршрута по Чаунской тундре. Бабье лето в этом году на Чукотке задержалось до середины сентября. Уже наступили холода, в тенистых местах замерзшие лужи не оттаивали даже днем, но дни стояли солнечные, безветренные.

В тундре было просторно и пусто. Летом воздух в ней кажется густым из-за птичьих криков, комарья и запахов. Сейчас комары исчезли, а из звуков остались только самые чистые: крики журавлей и гулкая перекличка гусей на сухих озерах. Эти высохшие озера, вода из которых ушла в мерзлотные трещины, лежали в тундре, как блюдца из темной керамики. Берега их густо поросли полярной березкой. Гуси любили бывать на этих озерах весной, но их не было тут летом, когда они не могли летать из-за линьки и перебирались к большим полноводным озерам, где легко уплыть от человека или другого врага. Сейчас гуси кричали трубно и громко, точно прощались до весны с излюбленными плантациями брусники и черных ягод шикши. За лето у них отросли новые перья, и они ни черта не боялись: летали над тундрой низко и еще издали разворачивались, как тяжелые ракетноносцы, чтобы взглянуть на меня.

...Я вышел к реке Паляваам, которая в своих низовьях сливается с Чауном, и они вместе впадают в Чаунскую губу.

Река обмелела за лето, и на дне были видны камни, обросшие темно-зеленым илом. Паляваам — быстрая горная река, но сейчас вода текла беззвучно. Я вышел на обрывистый берег, уселся, прислонив спину к рюкзаку, и закурил трубочку. Чуть ниже меня по течению начинался перепад. Темная вода обмывала в нем темные камни. Выше находилась заводь. В воде цвета черного зеркала отражались голые кусты ивняка.

По заводю плыл гусь. Огромный старый гуменник плыл вниз по течению. Сквозь воду я видел, как он медленно и зябко шевелит оранжевыми лапками, а порой поджимает их. Я сидел, боясь шелохнуться. Гусь плыл как-то задумчиво. Похоже было на то, что он озирает последние памятные сердцу места. Подплыв к перепаду, гусь развернулся на месте и тем же прогулочным ходом поплыл обратно. Я потянулся за ружьем, но передумал. В рюкзаке у меня уже лежал один гусь на ужин, а этот задумчивый малый явно нравился мне. Гусь проплыл до конца заводю и скрылся в боковой протоке.

Широкая долина реки уходила на восток, к верховьям. На юге торчала синяя стена Анадырского нагорья. На вершущах сопок и на высоких перевалах уже лежал ослепительно белый снег. Точнее, снег казался слегка фиолетовым, как и воздух над

ним. Фиолетовый свет складывался с желтым светом бабьего лета над желтой тундрой — спектральная каемка шла вдоль подножия гор на сто, а может, и на все триста километров...

С одного из таких перевалов я попытался недавно найти то место, где однажды, стрельнув навскидку, приобрел пучок куропаточьих перьев за полсотни рублей. Куропатка села прямо на палатку, я был внутри, ружье под рукой, и казенная палатка стояла как раз пятьдесят рублей на теперешние деньги. Тогда куропатки еще садились на крыши, а яростные весенние куропачи угрожающе кричали «кэрррки» на людей. На ослепительном весеннем снегу их не было видно, виднелись только налитые кровью брови. На снегу красные брови казались черными. Так они и бегали: стучочки крика и черной весенней крови. В те недавние времена охотились с пистолетом, чтоб не таскать ружье. И вода была чистой. Хариусы ловились на примитивную снасть — привязанный к пальцу кусок лески с крючком.

Теперь река текла густая от взвешенного в ней песка, ила и прочей промывочной мути, которая сопровождает добычу золота. Я смотрел на знакомую долину Ичувеема, где начинал службу сразу после геологоразведочного института, и не узнавал ее. Долины не было — был производственный плацдарм. Напротив устья ручья Быстрого, где когда-то мы разматывали с походных катушек электроразведочные провода на травке, пытались заменить наукой грубое дело шурфовки, сейчас скрипела, грохотала и охала железом металлическая громада драги.

За рекой привычно синел Ичувеемский массив — отдельно положенная горная туша. Он вроде не изменился, но я знал, что с той стороны его долбили, сверлили и рвали взрывчаткой, ибо там обнаружили ртуть. За массивом начиналась долина еще одной реки, и она тоже сейчас содрогалась от шурфовочных взрывов и рева бульдозеров, сгребających золотоносный песок.

Здесь, по борту долины Ичувеема, торчали столбики электропередачи. Они сильно выделялись на плоской тундре. По серой ленте трассы катились мокрые блестящие коробки грузовиков. Шел извечный чукотский дождик. Грузовики катились к золотому прииску, тому, что первым на Чукотке дал промышленное золото.

Я мысленно окинул взглядом Чукотку — от Узлена до тех мест, где начинается царство Колымы. «Вся Чукоция есть не что иное, как громада голых камней», — вспомнил я слова капитана Биллингса. «Громада голых камней!» — смешно говорить. Но ведь писал же об этом капитан Биллингс в давние времена. Я видел ее воочию, с ее кочковатой прибрежной тундрой, темными округлыми сопками, горными долинами, озерами, наледями, низкорослой

# ЛЮДЕЙ

осокой, красными обрывами морских берегов. С ярангами ее пастушьих стойбищ и новенькими домами первых чукотских городов. С ее поселками, молодыми рабочими поселками у рудников и приисков, и пропахшими звериным жиром древними охотничьими селениями. С ее тысячекilометровыми автотрассами, с ее оленями, тракторами, собаками, драгами.

С ее людьми.

2

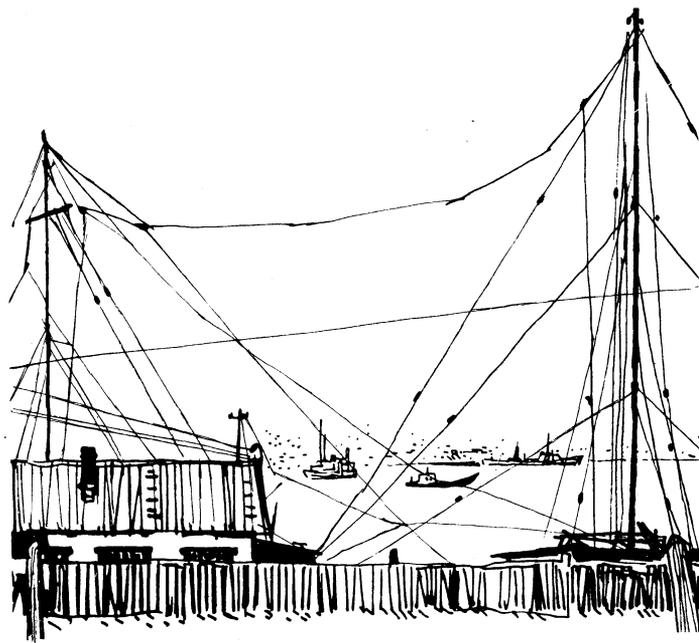
В тундре и горных долинах я видел чукчей — легких людей, высушенных ветрами и тяжелой пастушьей работой. На побережье — другой народ, кряжистый и груболицый, — эскимосы и чукчи-охотники. Они издавна плавают по ледовитым морям в поисках морского зверя. Борьба с холодом и льдом сделала их самыми выносливыми, верно, мореходами в мире.

Эскимосы — этот одержимый манией заселения полярных пределов народ — освоили в давние времена Берингов пролив, заселили побережье Аляски, узнали про Баффинову землю и махнули туда. Заселив лютые острова Канадского архипелага, они узнали о Гренландии. Но и в Гренландии они не успокоились, пока не добрались до самой северной точки этой земли. Дальше идти было куда, впереди был полюс. Но я уверен, что они и к полюсу сбегали искать землицы. И если бы там эта земля нашлась, будьте спокойны — там жили бы эскимосы.

Но колыбель эскимосов — берега Берингова пролива. Родина их в Сирениках, открытых всем ветрам Берингова моря, в туманном Чаплино и Наукане, где сложенные из камня и торфа дома лепятся на скалистом обрыве, точно горские сакли. Эти поселки уже были, когда на месте древних европейских городов еще царствовали дикий лес, пустоши и травы.

Заселение трудных для жизни мест наложило особый отпечаток на духовный облик эскимосов и их полярных собратьев — чукчей, хотя чукчи предпочли остаться на Чукотке. И тот и другой народ ведут себя так, как будто любая краткая стоянка и есть их дом. Уют создается мгновенно, так как они обладают потрясающим знанием свойств окрестного мира. Точное знание и неторопливость — вероятно, именно эти качества помогли им совершить свой географический подвиг.

Неторопливость и точное знание — эти черты прежде всех иных всплывают в памяти, когда я вспоминаю то, что удалось наблюдать мне в стойбищах, в глубине тундры и на побережье — в домах из архангельской брусчатки. Привычки, сложившиеся веками, мудрые, как всякие древние привычки.



Из чукотских блокнотов  
художника А. ГОЛИЦЫНА

Вельботы лежали на берегу, одухотворенные, как всякие морские суда. Был июль, начало лета. Стоял мертвый штиль. Прибрежные скалы отражались в бухте Преображения с открыточной реальностью. От воды шел йодистый запах морской капусты. Он смешивался со сладковатым и чистым запахом звериного жира, которым было пропитано дерево вельботов.

Старик Анкауна сидел на гальке. Он ждал южный шторм. Насчет шторма он был индивидуалистом и даже «врагом» общества. Интересы общества некоторым образом шли вразрез с нынешней заботой Анкауна — Анкауна нужен был байдарный киль, а обществу не только байдара, но и погода для охоты. Я пришел к Анкауна потому, что хотел увидеть работу байдаростроителя. Великим мастером Анкауна себя не считал хотя бы потому, что великие мастера по традиции жили в прошлом. Он собирался построить среднюю байдару грузоподъемностью на тонну для работы поселковых охотников во льдах. Великие же мастера строили, по его словам, гиганты «большие, как пароход», вмещавшие в дальних морских походах по тридцать охотников с женщинами, детьми, собаками и скарбом.

Шторм пришел, отбушевал трое суток и стих, сменившись туманом, липким как манная каша.

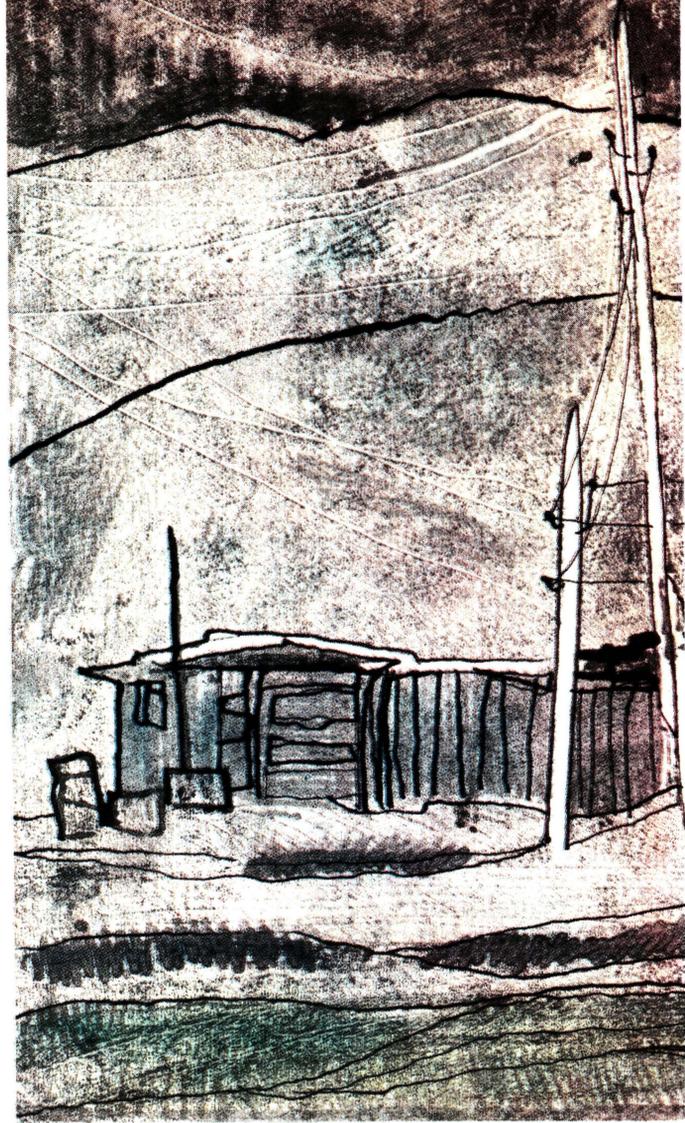
Анкаун отправился осматривать берег. На берегу лежали изорванные ленты морской капусты, сморщившиеся почерневшие медузы. Резко, по-нашатырному пахло йодом. В тумане по берегу расхаживали чайки, искали добычу. Из-за оптических свойств тумана они казались огромными, как птица Рух. Анкауна птицы Рух не боялся, хотя и не читал университетского курса «Оптики» Ландсберга.

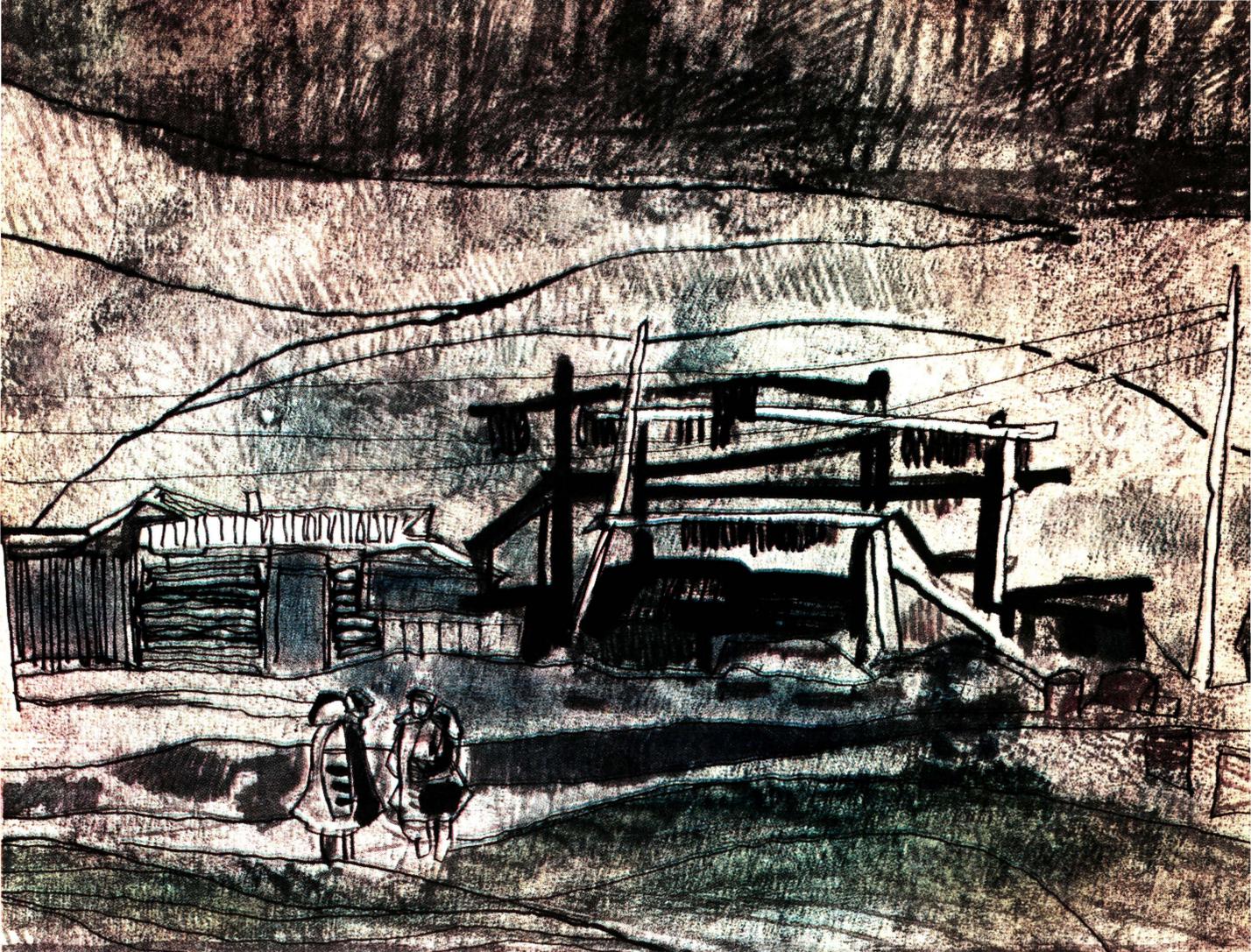
— Всегда в туман так, — формулировал он, глядя на огромных, как лошади, чаек.

Валялись разбитые ящики с надписями на всех языках мира, обломки досок, далеко от воды лежали бимсы с какого-то деревянного корабля с вырванными гнездами железных болтов. Концы их были измочалены во время странствий вдоль неведомых берегов. Словом, это были обычные подарки южного шторма. Но Анкауна искал деревце на байдарный киль. Оно должно было быть вырвано с корнем, так, чтобы корень был толст, шел перпендикулярно к стволу и был цел.

Нашел он его только к вечеру километрах в десяти от поселка. Берег здесь был скалистый, и деревце лежало между двумя валунами, вбитое туда ударами воды. Анкауна разматал длинный ремень, которым была подпоясана кухлянка, соорудил из обломков досок и ремня рычажный механизм и извлек деревце. Потом он отбуксировал его по воде на ровный галечник, покурил и лишь после этого приступил к осмотру. В общем дерево было коротковато и в стволе и в отростке корня, но Анкауна решил его взять. Он вытащил дерево на волноприбойный вал и воткнул в гальку кусок доски, чтобы его легко можно было обнаружить с моря.

Через неделю охотники привезли его на вельботе. Несколько дней Анкауна копил дерево в дыме костра и тюкал по нему чем-то вроде топорика — лезвие в этом орудии шло перпендикулярно рукоятке. Мне показалось, что такой инструмент не так уж удобнее обычного топора, но великие мастера... в общем у них были такие топоры. Недостатки концы он нарастил и обмотал размоченным моржовым ремнем. Ремень высох и придал им крепость стальной конструкции.





В это время женщины готовили выбранную Анкауном моржовую шкуру. Они натянули ее на земле на крепко вколоченных колышках. Шкуру мочили дожди, обдувал ветер, она постепенно вытягивалась и начинала звенеть под пальцами. Тогда женщины с непостижимым искусством расслоили ее вдвое по толщине. Скрепленный ремнями каркас был уже готов. Двойные верхние обводы были прикреплены к килу ремнями. Ремнями же крепились шпангоуты. Каркас выглядел ажурной игрушкой. Мы вдвоем перенесли его на шкуру. Анкаун прорезал ножом первую дырку, просунул толстый ремень, перехлестнул край шкуры через верхний обвод и закрепил ремень на втором обводе. Потом прорезал вторую дырку. Так к вечеру появилась байдара. Анкаун поливал ее водой, натягивал ослабшие ремни и обрезал ненужные куски обшивки.

И наконец наступил день, когда байдара была выставлена на стойки. Трое мужчин легко несли на плечах судно грузоподъемностью свыше тонны. Тугая звенящая шкура обтягивала каркас без единой морщинки. Она просвечивала на солнце, словно ломтик лимона. С легким килевым носом, обтекаемая, словно вылитая из цветного стекла вдохновенным стеклодувом, байдара сама просилась в море.

«Я, конечно, не самый великий мастер, но...» — думал, глядя на нее, Анкаун.

Чукотскую, или эскимосскую, байдару можно, я думаю, поставить в истории человечества в один ряд с колесом. И в тех владивостокских вельботах, что лежат около воды возле чукотских поселков, как во всяком морском судне — пусть оно построено по чертежам, рассчитанным с применением всей современной математики, — есть та одухотворенность, которая была вложена когда-то в свое дело великими мастерами прошлого, а среди них и предками Анкауна.

#### 4

Человек, зашитый в оранжевый мех, висел на шесте, воткнутом в снег. Он напоминал куклу, сделанную неумелыми руками: наросты руки с наглухо зашитыми рукавами, наросты ноги в глухих меховых штанинах без ступней. Морозный ветер с приморской тундры раскачивал человека на петле, вшитой в тыльную часть комбинезона, он чмокал губами во сне и улыбался. От роду человеку было четыре месяца, звали его Колька, если угодно — Николай Николаевич Калянто.

Колькина мать хлопотала неподалеку. Она выколывала иней из шкур разобранного спального полога кривой колотилкой оленьего рога, похожей на бумеранг. Она лупила «бумерангом» по шкурам, точно они были исконными врагами всего женского рода.

Колькина бабка шуровала примус в чоттагыне — внешней части яранги. Бабка орудовала с примусом, стоящим на ящичке из-под печеня «Привет», вслушивалась в хлопанье колотушки и удовлетворенно кивала головой. В дни ее юности энергичное выбивание инея из шкур считалось одной из главных женских добродетелей.

Примус взревел, и раздался плач Кольки.

— Хек! Хек! — крикнула ему мать. Точно так же она кричала на оленей при перекочевках. Колька услышал знакомый голос, знакомое «хлоп-хлоп» колотушки и успокоился: все в порядке. На всякий случай он приоткрыл глаза и увидел красный снег,

залитый светом вечернего февральского солнца. Тут тоже было все в порядке, Колька закрыл глаза и заснул. Что он видел во сне — неизвестно. Мать кончила лупить по шкурам, подошла к висящему Кольке, вытащила из прорехи комбинезона ком мягкой травяной ветоши, которая, так и есть, была мокрой, заложила туда новую ветошь, теплую, мягкую и сухую.

Колькин дед с молодым Теркинто гонялся в это время за снежным бараном, которого заметил еще вчера. А отец сидел в полутора километрах от яранги в вырытой в снегу ямке и курил махорку. Самодельная чукотская трубка могла вместить полпачки моршанской. К трубке был привязан красный радужный кисет на ремешке и медная ковырялка. Первая модель такой трубки была сделана лет сто назад, и родилась она от великого чукотского практицизма. В те времена табак был в крупной цене, и чукчи мгновенно приспособились класть на дно трубки мелкие тальниковые стружечки. Стружки вскоре пропитывались никотином покрепче табака, и их можно было курить, положив на дно новые тальниковые стружечки, которые вскоре можно было курить, положив на дно...

Ветер относил махорочный дым на оленье стадо. Олени слышали запах дыма и спокойно копытели снег, уверенные в прочности земного существования. Если дым уносило ветром, особенно нервничали важеньки: приближалась пора отела.

Беспутные быки, которых не укротили неважные зимние корма, задирались друг перед другом. Так, для тренировки. Годовальные бычки вежливо учились у старших.

Если судить по одежде, Колькиного отца можно было принять за законченного пижона. Узкие меховые брюки из белого камуса были сшиты на манер спортивного трико. Ослепительно белая кухлянка была оторочена внизу квадратиками меха со лба оленя. Достоинство шапки мог понять только посвященный. Она была оторочена ценным мехом россомахи, который не индевет от дыхания в любой мороз. Одежду шила Колькина мать. Меня всегда поражало совершенство чукотского костюма, и не раз приходило в голову, что спецодежда полярников, можно сказать, была «списана» с него. Но в массовом изготовлении утеряла многое из того, что вносили в нее практицизм и выдумка северных народов. Потому в ней сейчас пока неизвестно, чего больше — тяжести или неудобства. Отрадно читать, что присматриваются сегодня к тому, что придумано за века этим народом, что, скажем, такой-то архитектор создал проект города для Дальнего Севера, найдя смысл в конструкции яранги, а в таком-то конструкторском бюро придумали нарты, именно нарты, но с мотором.

...Второй пастух, Ульхуги, отправился на коротких плетеных снегоступах осмотреть окрестности: не видно ли волчьих следов. Когда он вернется, они пойдут за сменой, так как дежурили здесь с пяти утра, наскоро позавтракав мороженым мясом с нерпичьим жиром и чаем.

Олени тревожно захоркали. Один геройский бык выскочил вперед, взрыл снег и на всякий случай попятился обратно. Важеньки задрали головы, готовые убежать.

Из овражка выросла шапка, ствол карабина, потом сам Ульхуги, коричневый, как медведь. Как медведь, он перевалку косолапил на снегоступах. Но впечатление неуклюжести было чисто внешним. Так косолапить Ульхуги мог полста километров без передышки. А надо — и больше.

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

«И СНОВА — ПРЫЖОК НА ПАМИР». РАССКАЗ УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕДИЦИИ.

ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЯ ЛЬВА УСПЕНСКОГО

О ПЕРВЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ В НЕБЕ НАД ПЕТЕРБУРГОМ.

Колькин отец набил трубку свежей порцией махорки и протянул ее подошедшему Ульхуги. Тот откинул повисшую на ремешках шапку и взял трубку. От черноволосой головы его валил пар и смешивался с махорочным дымом. В сумерках пар от головы Ульхуги поднимался белым облаком, а дым сразу же исчезал, потому что и воздух стал цвета синеватого махорочного дыма.

Шум оленьего стада — шорох взрываемого снега, хорканье самцов, четкий хруст снега под копытами — постепенно стихал, и сам воздух как бы замер, скованный сорокаградусным морозом. Путь, где прошло сегодня пасущееся стадо, выделялся темной полосой перекопанного снега, ключев ягеля, травы, перевернутых камешков. Сейчас там было царство мышей, куропаток и зайцев, которые двинулись вслед за стадом, сдирающим снег.

Гряда сопок на севере стояла иссиня-черной стеной. Над стеной висели колючие, с блин величиной звезды. Над сгрудившимся стадом поднималось белое облачко испарений, и олени застыли в этом облаке, ибо наступила ночь — время оленьих страхов от древних до наших дней.

...Полог был собран. Из двери чоттагына на снег падал красный клин света от реактивно гудящего примуса. Иззябшие пастухи сняли в чоттагыне верхние кухлянки, брюки и торбаса, приподняли занавес полога и пролезли внутрь, где было тесно, тепло и светло от трех стеариновых свечек, прилепленных к древним каменным жирникам. Колька лежал на полу, гулькал и пускал пузыри. От снега его отделял двойной слой шкур и толстый матрац, во всю площадь полога, набитый теплоизоляционной полярной осокой, той самой, которую Нансену собирали в Сибири, когда он готовился к походу через Гренландию на лыжах. Колькина бабка просунула в полог узкое деревянное блюдо с дымящимся мясом. Мясо было сварено по единственно правильному рецепту: мелко нарезанным его положили в холодную воду и сняли, как только вода закипела. Все витамины остались при нем, и Колька маленько его пожевал. Ульхуги и отец долго ели, первый раз за день, потом долго пили кирпичный чай. От свечек, чайника и мяса в пологе стало жарко. Они сняли пыхиковые рубашки и остались в одних брюках. Поев, немного поговорили о волках и мгновенно уснули каменным пастушьим сном. Им было вставать в пять утра, наскоро завтракать мороженым мясом, обмакнутым в нерпичий жир, и идти к стаду. Колька тоже проснется вместе с ними, и отец не преминет заметить, что Колька будет пастух, раз рано встает, и даст ему тонко нарезанного мороженого мяса. Беззубый Колька будет мусолить его, и отец, как всякий отец, не преминет похвастать, что парень чувствует вкус сырой оленины — еды мужчин и пастухов.

В это время старик Канто, Колькин дед, и молодой Теркинто, зря промотавшиеся день за хитрым снежным бараном, были у стада. Старик Канто ле-

жал за снежным застрогом, курил и смотрел на звезды, похожие на морских ежей. Мысли его шли вперемежку от пастушьей звездной мифологии к скорому отелу и к тому, что пора кочевать для этого в закрытые от ветра долины с хорошим ягелем, пора бы и ветеринару уже побывать здесь. От отела мысли шли к приезду Большого Семена, который привезет керосин, муку и новости. Еще думал старик о сыне, Колькином отце. Хорошо, что тот, хоть и учился в интернате, стал пастухом, как и он и Теркинто. На бульдозерах ездить есть кому, и в самолетах хватает кому летать. Хороший пастух ой как нужен в их поселке. А заработки — заработки не хуже, чем на приисках.

А молодой Теркинто обходил стадо и думал о том, не забыл бы Большой Семен батареи для «Спидолы», которая еле хрипит. Еще он думал о поселке, где электричество, дома из архангельской брусчатки, кино и танцы ежедневно, не то что здесь, у пастухов, хоть они из того же колхоза. Заезжий лектор два года назад говорил о ярангах из пластика на невесомом алюминиевом каркасе с газовым отоплением в ванной комнате. Теркинто хохотнул, вспомнив эту лекцию. Алюминий на таком морозе можно ломать пальцами, а пластик — прошлый год купил он сумку из пластика, на другой день был мороз, и она потрескалась, как стекло.

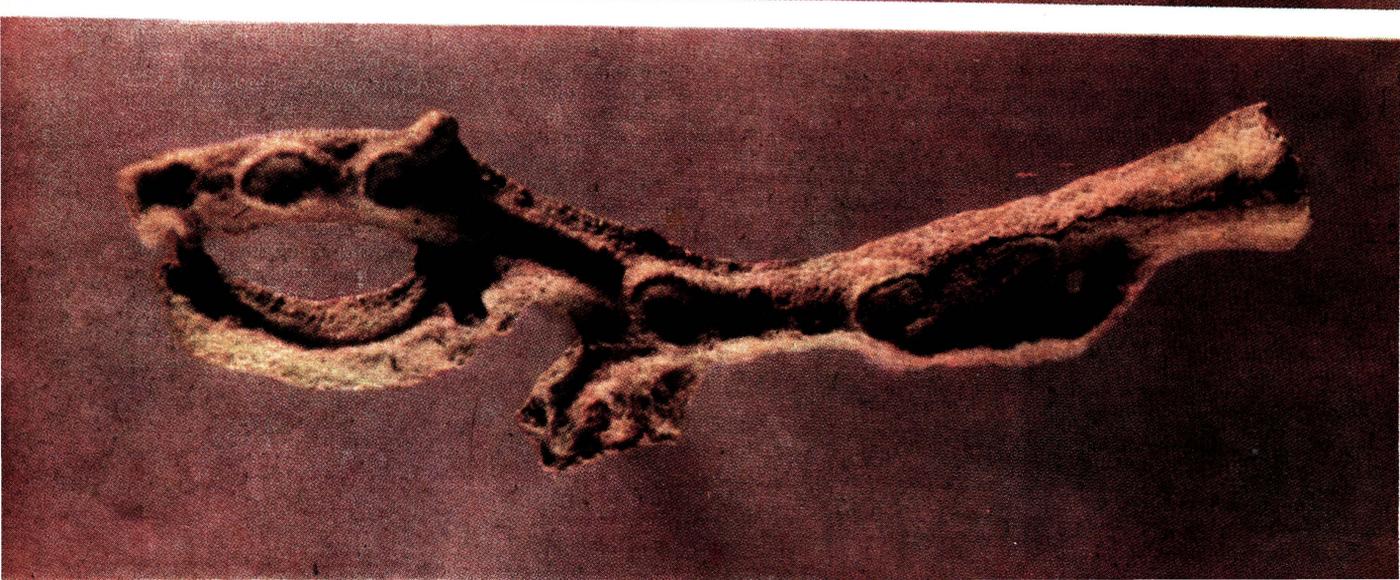
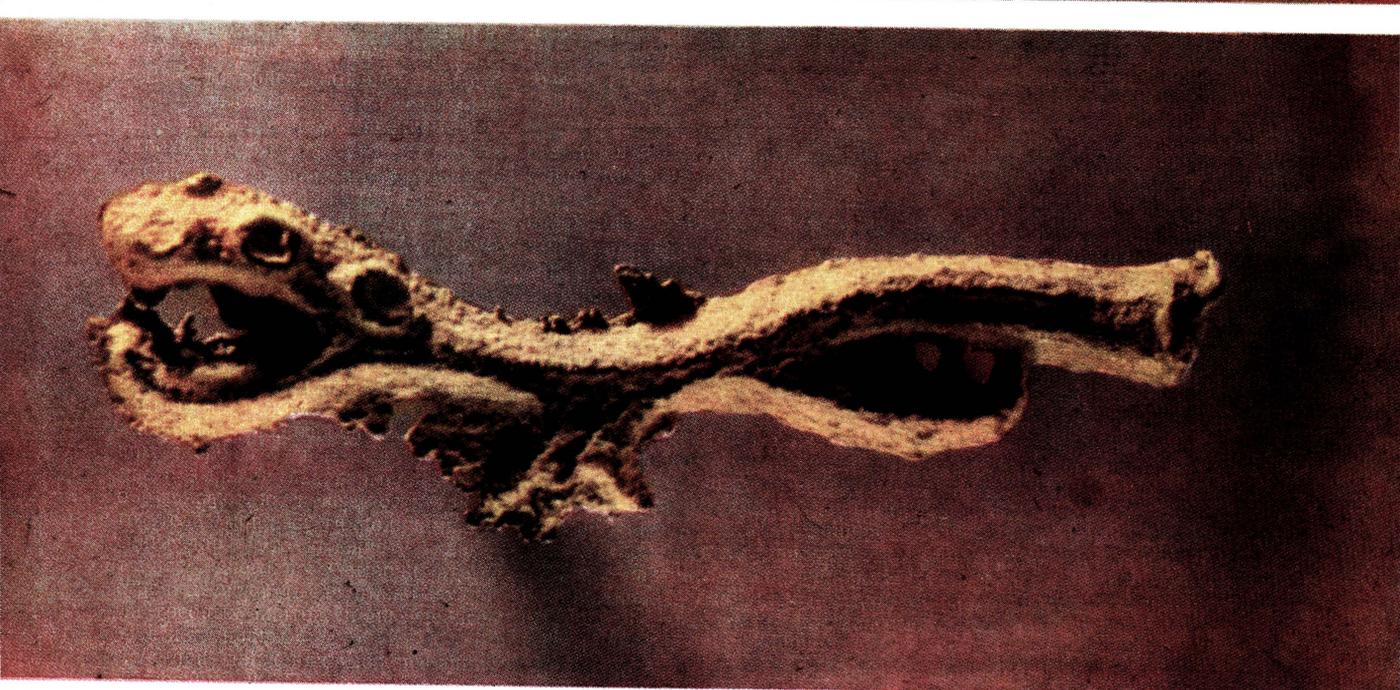
Теркинто прислушался к тишине вокруг стада и подумал: хорошо бы поместить в углу полога телевизор, иначе на кой черт богатые пастушья заработки. Впрочем, телевизор в нарте не увезешь.

Колька ничего не думал, ибо не умел, и сны видеть он не умел, а если бы умел, то наверняка видел бы громадных тундровых волков, стратегически залегших в ложбинках вокруг стада. Впрочем, у отца, деда, Ульхуги и Теркинто на сей случай всегда наготове карабин с досланным патроном. Только крутны затвор и — бей по пастушьей науке навскидку.

5

О крае, где долго жил и работал, трудно рассказать на нескольких страницах. Грустно пропускать многое из того, что пережито, что оставило во мне свои впечатления...

Но уж никак не забыть мне одну девчонку, с которой мы познакомились на мысе Нутепельмен, ограничивающем с запада залив Креста. Тогда ей было пять лет. Она провожала наши вельботы, одетая в крохотный меховой комбинезон, какой носят на Чукотке женщины и дети. Поверх комбинезона было красное платьишко, на голове красный платок. В этом наряде среди серой гальки пустынного берега она напоминала полярный мак, который встречается изредка в диких развалинах камня. Она махала грязной ладошкой, как машут во всех странах мира дети железнодорожных окраин, провожая гремящие поезда.



...Грубая двухтысячелетняя чешуя бронзовой окиси, остывшие пасти, узкие, стремительные, с поджатыми лапами и вытянутыми хвостами туловища... Трудно даже сказать, кого именно воспроизводил древний мастер — волка, собаку или, быть может, бобра?

## ОТКРЫТИЕ СОВЕТСКИХ АРХЕОЛОГОВ

# ВУРГАСЯН-ВАД:

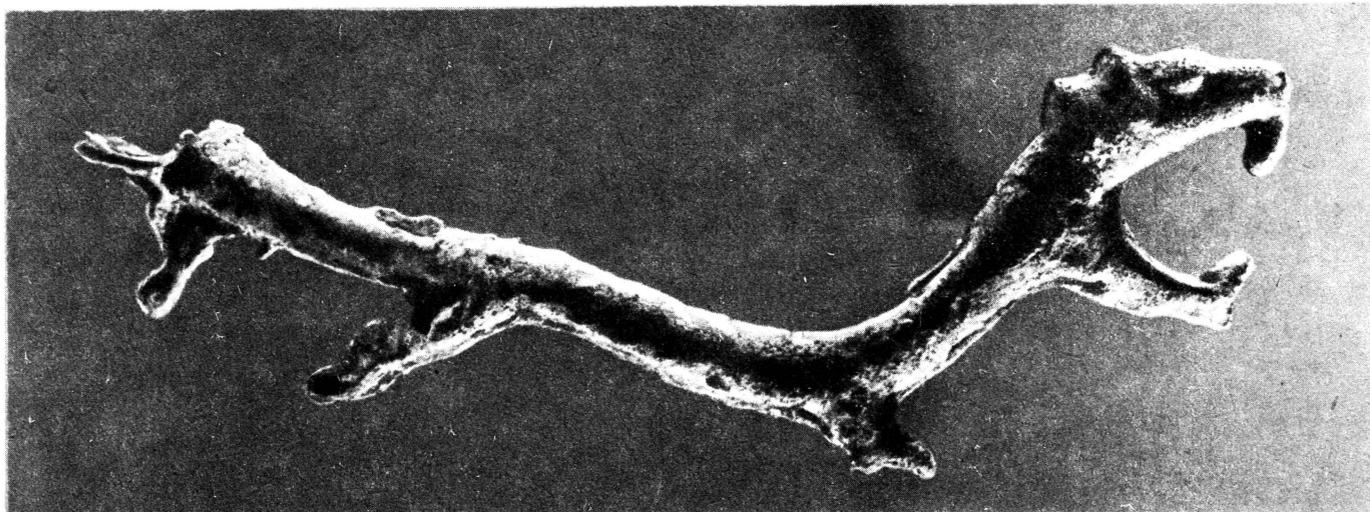
## ЗВЕРИ БРОНЗОВОГО ВЕКА

**И**зделия подобного рода, поразившие исследователей своим нарочитым схематизмом, были впервые найдены на территории Приобья в конце прошлого века. Они отдаленно напоминали изделия так называемого скифского звериного стиля, во второй половине первого тысячелетия до нашей эры распространившие-

вынув отливку из глиняной формы, даже не обрубал литники — металл, застывший в формовочном канале.

Так, может быть, эти мастера просто не умели обрабатывать бронзовые отливки? Но проходили годы — и наряду с грубыми, необработанными отливками археологи находили — и в боль-

Тогда, может быть, эти загадочные отливки — полуфабрикаты, изделия просто-напросто еще не обработанные? Но в музеях уже насчитывались десятки таких отливок, число их подошло к сотне — и среди них не было ни одного изображения, отделанного после того, как оно было вынута из формы.



гося среди лесостепных племен, — но только лишь отдаленно. В отличие от мастеров, изготовлявших тщательно отделанные скифские украшения, «зауральские мастера, — как писал в 20-х годах исследователь древностей Оби А. В. Шмидт, — не имели никакого интереса к живым, реальным формам... Нет ни одного предмета описанного стиля, который мог бы быть украшением, как скифские изделия...» Древний мастер Приобья,

в большом количестве — изделия, тщательно отделанные, гладкие, обработанные. И судя по всему, они были изготовлены мастерами тех же племен и в то же время... Эти находки показали, что археологи столкнулись в Приобье не с какой-то отдаленной ветвью скифского искусства, не с изделиями мастеров, лишь копирующих случайно попавшие к ним изделия, но с высоким и самобытным искусством.

В конце концов многие исследователи пришли к выводу, что эти отливки имеют какой-то определенный ритуальный смысл, что они связаны с народными поверьями. Но какими?

...Летом 1968 года археологический отряд Московского государственного университета, возглавляемый Вадимом Старковым, во время раскопок в Ханты-Мансийском национальном округе на поселении Вургасян-Вад нашел клад — 92 бронзовые отливки.

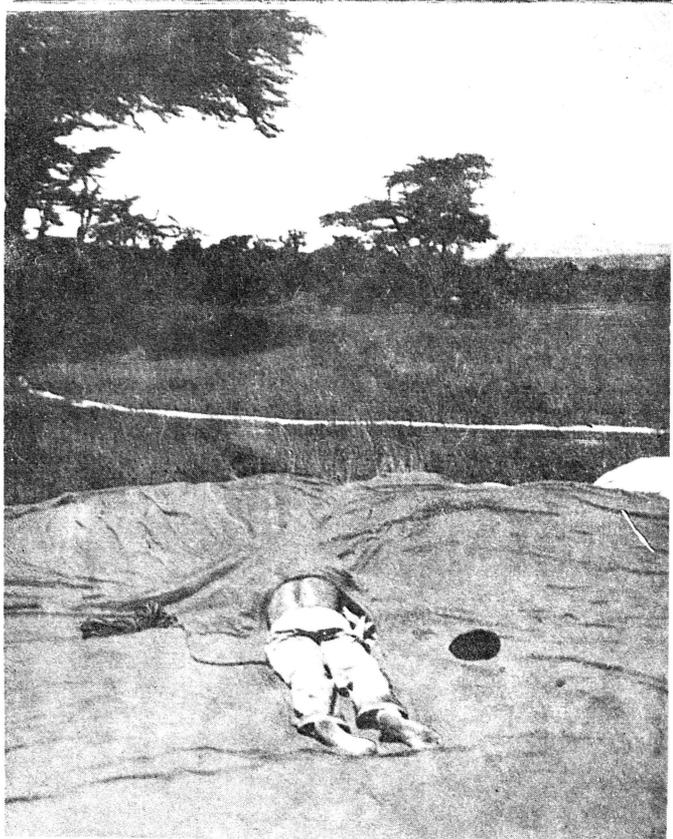
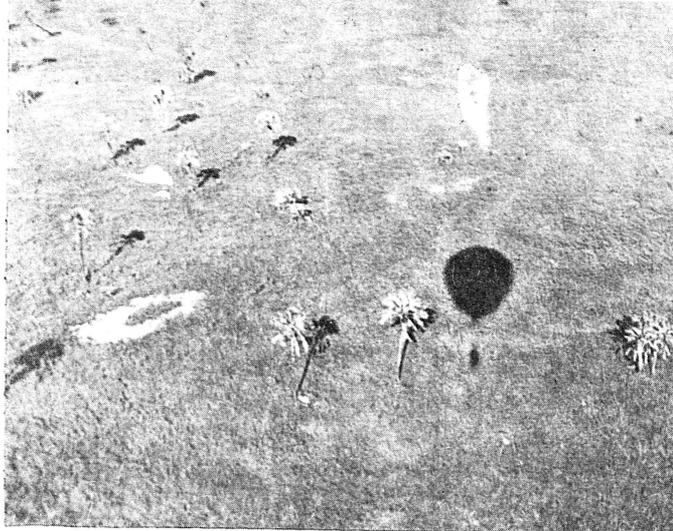
В одном месте лежало столько загадочных отливок, сколько было найдено почти за столетие. Но ценность находки была не только в этом — на некоторых отливках были остатки шнурков, которые соединяли эти отливки с металлическими бляшками, найденными в этом же кладе. И это не просто деталь находки, но, как считают уже сейчас многие исследователи, ключ к разгадке почти вековой тайны.

...Известный советский этнограф и археолог В. Чернецов записал и обобщил многочисленные легенды и предания народов ханты и манси, связанные с представлениями о жизни и смерти, уходящими в глубокую древность. Согласно этим представлениям человек может обрести бессмертие, если его «душа-дыхание», «самая главная душа», «носительница имени», «живущая в волосах» через три года после смерти своего владельца переселится в кого-нибудь из потомков рода умершего. Но ведь эти три года «душа-дыхание» должна где-то жить. И все эти три года, как гласят предания, она живет в изображении прапредка умершего, его тотеме. У каждого рода свой тотем — одно из реально существующих животных. И если потеряется тотем — потеряется «душа-дыхание», прекратится род.

Как считают В. Старков и ряд других исследователей, клад, найденный на поселении Вургасян-Вад, оставленный более двух тысячелетий назад, едва ли не абсолютно точно иллюстрирует эти легенды ханты и манси. В кладе найдены только изображения зверей и к ним были подвешены украшения, что подтверждает, во-первых, высказывавшееся ранее мнение о том, что подобные отливки не полуфабрикаты и брак, а уже готовые изделия, и, во-вторых, свидетельствует, что эти изображения — бережно и тщательно охраняемые тотемы, вместившие «души-дыхания», дающей бессмертие.

...Десятки веков прошли с тех пор, как эти оскаленные, готовые к прыжку тела мастера снимали из глиняных форм и бережно относили к родовому святилищу. Мастера были спокойны — их род не умрет. И вот теперь их изделия лежат перед нами как символ бессмертия самобытной и высокой культуры народов Приобья.

**В. ИЛЬИН**



# САМОЕ НАДЕЖНОЕ — ВОЗДУХ

**П**скинув наш лагерь под фиговым деревом в кратере Нгоронгоро, мы взяли курс на Найроби. Наша машина поднялась по северной, мало наезженной дороге в глухое селение Наиноканока. Здесь много месяцев никто не ездил, и дорога оставляла желать лучшего, зато кругом был чудесный ландшафт с редким для Африки мягким очарованием.

Я заметил это место давно, но не мог себе заранее представить, какое это наслаждение — бродить по кустистой траве под ржание зебр, обращая в бегство одиночных гну. Правда, я совсем забыл, что ходить на большой высоте бывает тяжело. С трудом переставляя ноги, я размышлял над тем, что эволюция могла бы снабдить нас более совершенным дыхательным аппаратом. Возьмите рыб, у них сквозное устройство: не нужно выпускать воду обратно в то отверстие, через которое она поступила. А регулирует все хитроумный стабилизатор — плавательный пузырь. Не стань он примитивными легкими и не помоги он рыбе превратиться в первое наземное животное, из жабр, быть может, развилось бы что-нибудь поинтереснее. Но так уж вышло: ошибка, произошедшая в девоне, привела к тому, что четвероногие оказались оснащенные системой с очевидными недостатками. Во всяком случае, я считал ее такой, когда, борясь с одышкой, упрямо карабкался вверх, к гребню.

Мы еще были на горе, когда наступил вечер. В тропических широтах вечер — отнюдь не отвлеченное понятие, с помощью которого человек делит сутки. Солнце как-то неожиданно тускнеет, и в ту же секунду, словно мир до тех пор был черно-белым, всюду появляются краски. Горы становятся голубыми, темные озера переливаются серебром, а на пыльную, сухую землю ложатся сочные коричневые блики. Даже воздух как будто меняется, когда наступает вечер.

...Два дня спустя мы прибыли в Найроби, где нас пригласили принять участие в воздушных гонках. Состязаться должны были спортивные самолеты, а мы выступали вне программы. После Нгоронгоро здесь было куда как просто готовиться к полету. Машина строительного управления привезла песок, завод «Ист-Эфрикен Индастриз» зарядил баллоны газом, транспортное агентство доставило их. Отряд курсантов составил наземную команду, отдел диспетчера аэродрома обеспечил нас всеми необходимыми синоптическими данными. И все-таки, хотя

мы могли рассчитывать на всякую помощь, хотя нам ни в чем не было отказа, мне, когда я накануне полета расстилал оболочку воздушного шара на взлетном поле, почему-то стало страшновато. Наши перелеты можно было назвать замечательными, удивительными, однако летать в Африке оказалось куда опаснее, чем я ожидал. Конечно, пока никого не ранило и не убило, но ведь нам все время неслышно везло. В одном месте, словно по заказу, стояло сухое дерево, в другом месте мы неожиданно мягко сели — нельзя же без конца уповать на подобные чудеса. Когда-нибудь чаша весов склонится в другую сторону.

Пока я размышлял над этим, подъехали на велосипедах двое мальчишек; по их словам, они захотели нам помочь. «Помощь» заключалась в том, что мальчишки, не слезая с велосипедов, задавали мне вопросы. Оба были дети местных европейцев.

— Это вы полетите на шаре?  
— Да, я и еще двое.  
— А нас возьмете?  
— Нет места.  
— Это опасно?  
— Бывает опасно.  
— И вы можете убититься насмерть?  
— Не исключено.  
— Ух ты, — сказал тот, что побойчее, — тогда будет пятеро за два дня.

— Это как надо понимать? Кто же остальные двое? — спросил я, отрываясь от своего дела.

— А вы не слышали? Один свалился с грузовика утром. Второй сорвался с веревочной лестницы, которая была подвешена к самолету. Готовился к гонкам.

— Где ж это было? — Моя рука, державшая канат, как-то странно обмякла.

— Да вон, за дорогой. Мы-то не видели. Поздно приехали. Понимаете, он висел на этой своей лестнице, потом вдруг упал. На нем был пояс какой-то, для страховки, да оборвался, что ли. Вот он и упал и убитился насмерть. А другой случай был в городе. Вывалился из грузовика — понимаете? И попал под другой грузовик. Тоже насмерть.

Они на минуту призадумались. Потом снова принялись расспрашивать.

— Скажите, вы правда можете убититься завтра? Если шар лопнет или что-нибудь откажет, когда вы заберетесь высоко-высоко? Или вы из корзины вывалитесь, или еще что?

О других эпизодах путешествия на воздушном шаре над Африкой рассказывалось в № 12 за 1968 год и в № 2 за 1969 год.



*Первый шар упорно наполняли исключительно дымом от горящего влажного сена. И братья Монгольфье, не жалея сил, добывали этот дым.*

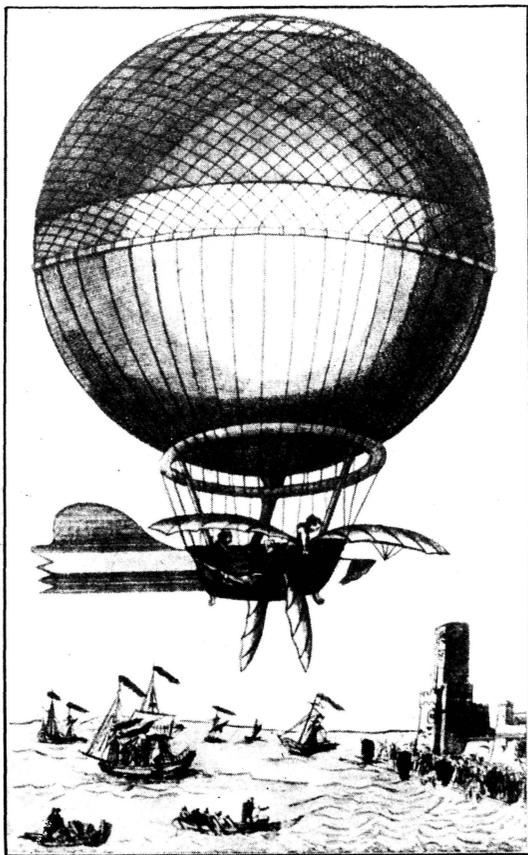
## КОЕ-ЧТО О ШАРАХ

**В** начале к небу поднялись шары, наполненные нагретым воздухом, за ними — надутые водородом. В 1785 году состоялся перелет на аэростате через Ла-Манш, и люди дали волю своему воображению. Иногда оно оказывалось необузданным. Взять, скажем, тех, кто решил сочетать дешевизну нагретого воздуха с преимуществами водорода и стал подогревать наполненную газом оболочку, достигая при этом оглушительного эффекта.

Гравюрные композиции, на которых изображены первые трудные шаги воздухоплавания, показывают, сколь часто дело кончалось катастрофой.

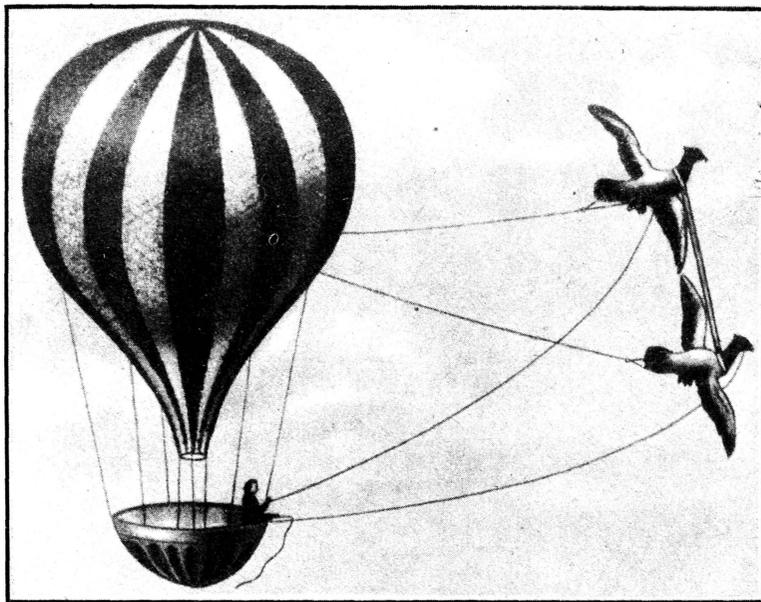
Удивляешься и тому, как странно толковали результаты первых полетов. В наши дни, прежде чем довериться ракетам, ученые сажают в них животных; так же поступали люди восемнадцатого века. Первыми существами, которые благодаря человеческому гению вознеслись в воздух, были ягненок, утка и петух. Их поместили в клетку, эта клетка пролетела на воздушном шаре несколько километров. Вернувшихся на землю животных подвергли придирчивому осмотру; тщательное обследование выявило, что у петуха сломано крыло. Тотчас было во всеулышание объявлено, что выше непосредственно прилегающего к земле слоя, где обитает все живое, атмосфера настолько сурова, что даже кости ее не выдерживают. Такое мнение господствовало довольно долго, пока кто-то не высказал догадку, что виновником перелома скорее всего был ягненок с его неуклюжими манерами.

Как бы там ни было, новый вид транспорта укоренился. Шары типа «шарльер», названные так в честь профессора Шарля, который отдавал предпочтение легким газам, мало-помалу взяли верх над «монгольфьера-



*Итак, подняться в воздух оказалось делом несложным. Вся штука была в том, как научиться управлять непослушным баллоном. Первое, что пришло в голову, — это использовать крылья. (Проект конца XVIII века).*

*Проект Кайзера (1801 год) предусматривал большую маневренность воздушного шара.*



ми», названными в честь поклонников нагретого воздуха, братьев Монгольфье. «Шарльеры» получили такое распространение, что Наполеон даже разработал обширный план воздушного вторжения в Англию.

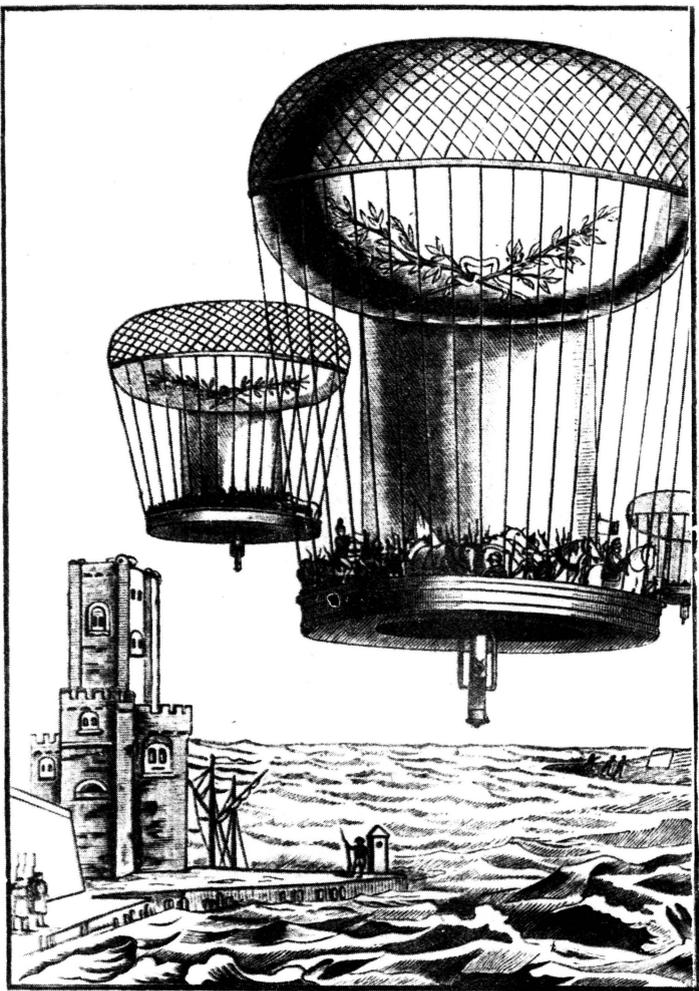
Каждый полет той эпохи был чем-нибудь примечательным. Один моряк, оторвавшись от земли, прокричал напоследок, что удивит своим полетом весь мир: он забрался слишком далеко и утонул в море где-то возле Плимута. Но самые удивительные приключения выпали на долю двух аэронавтов, вылетевших в 1871 году из осажденного Парижа. На рассвете они обнаружили, что шар летит над Северным морем. Лучше сразу конец, чем медленная смерть в ледяной воде, решили пилоты, и один из них с помощью товарища полез наверх, чтобы поджечь водород; однако газ почему-то не хотел воспламениться. Осталось только уповать на чудо. И оно свершилось: перелет завершился благополучной посадкой в Норвегии. Необычное приключение принесло пилотам орден.

К концу прошлого столетия появилась подлинная мода на аэростаты. Многие стремились хоть разок подняться на воздушном шаре. Номер же «А ну-ка полетим, ребята!» стал гвоздем эстрадных представлений.

Но вот появилась дирижабль, и сразу воздухоплавание приняло серьезный характер. Управляемый аппарат, естественно, обладал большими преимуществами, и в первую мировую войну обе стороны связывали с ним свои надежды. Да и после войны каждый перелет был памятным событием.

Однако вскоре после серии аварий кончилась эпоха дирижаблей, а последовавшая вскоре гибель гиганта «Гинденбурга» в США завершила дело. Мир дирижаблей ушел в прошлое — особый неповторимый мир. Жаль только, что на их ангарах не укрепили памятную табличку вроде той, которая украшает последний чайный клипер «Катти Сарк»:

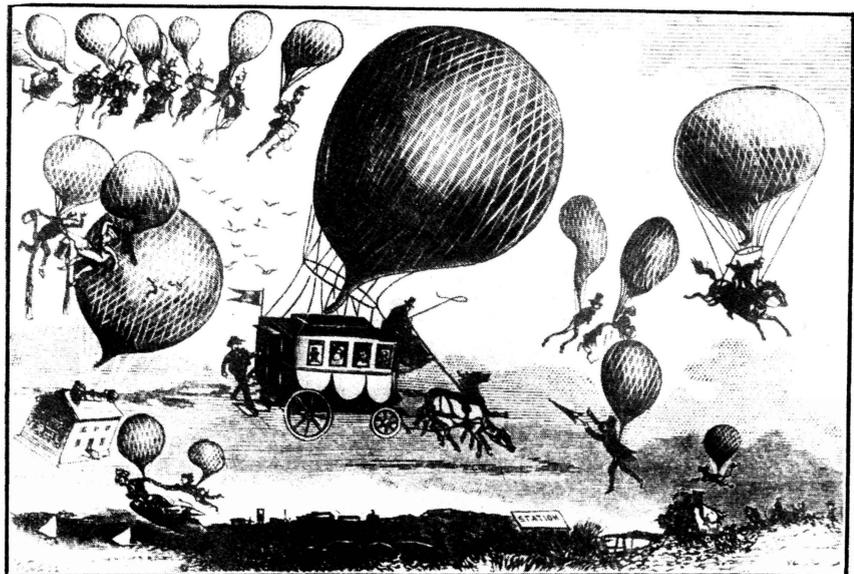
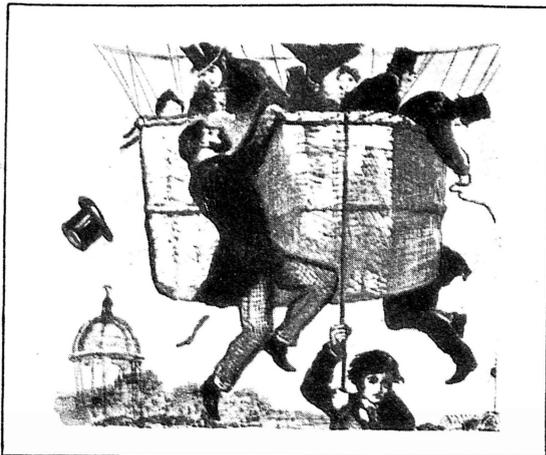
**ЭТО ВЕХИ НА ПУТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА. МИР БОЛЬШЕ НЕ УВИДИТ ТАКИХ КОРАБЛЕЙ.**



Карикатура начала прошлого века (разумеется, английская) высмеивает планы наполеоновского вторжения в Англию воздушным путем.

Рассказы о полетах на воздушных шарах заставляли трепетать читателей иллюстрированных еженедельников. Этот рисунок из парижского «Иллюстрасона» живописует катастрофу, случившуюся с несколькими денди, решившими вознестись в небо после слишком обильного завтрака.

К середине XIX века, когда мода на шары захлестнула Европу, шутники предлагали перевести на воздушный транспорт буквально все — снабдить баллонами почтовые кареты, всадников, солдат-пехотинцев и даже нянь-гувернанток.



Я, очевидно, не убедил мальчишек, и они продолжали обсуждать вероятность еще одной или трех смертей. Вдруг оба сорвались с места.

— Пока! Постарайтесь не разбиться.

— Пока.

По расписанию нам предстояло стартовать, когда участники гонок спортивных самолетов сделают перерыв на ленч. Это означало, что мы будем располагать временем, — весьма кстати, потому что старт аэростата не распишешь точно по часам, а во время перерыва мы причиним диспетчеру меньше хлопот. По правилам в воздушном океане все уступают дорогу аэростату, тем не менее лучше выпустить нас, когда в воздухе не будет давки.

— Скорость ветра достигает 30 узлов, — доложил прибежавший курсант.

Мы с предельной быстротой подвесили гондолу и, с трудом удерживая равновесие, занялись погрузкой.

— Ветер достигает 35 узлов! — послышался чей-то звонкий голос.

— Пора взлетать, — сказал я, и на борт приняли несколько мешков с песком.

Под порывом ветра аэростат лег на бок, люди бросились врассыпную. Опомившись, наземная команда повисла на гондоле. Я сбросил полмешка песка, выждал, когда аэростат встал почти прямо, и крикнул:

— Отпускай!

Курсанты отпустили, и мы пошли. Тотчас качка прекратилась. Мы больше не ощущали порывов ветра, нас объял покой свободного полета. Вот только высоту не набираем... Я сбросил еще полмешка песка, и мы с привычной легкостью взмыли над ближайшей вилой. Земные шумы быстро стихли и вдали.

— Так, взлетели, — как обычно, произнес Дуглас, но я уловил в его голосе необычайный оттенок.

Еще бы, при таком «взрывном» старте, когда стропы подвергаются очень сильной и неравномерной нагрузке, всякое может случиться. Резкий порыв ветра в неожиданном направлении мог вызвать катастрофу. Мне вспомнились слова моего учителя по авиации: «Самое надежное — воздух. Несчастья случаются на земле».

Скорость, с какой мы шли над землей, подтверждала тревожные сигналы, полученные из диспетчерской. Мы набрали хорошую высоту, двести метров с лишним, но неслись со скоростью около 50 километров в час. Кончились предместья Найроби, дальше пошли примитивно возделанные участки. А вот и пологие склоны Нгонг. Большая часть холмов покрыта заповедным лесом. Между деревьями бродили буйволы, встречались и антилопы эланда. Мы бесшумно скользили над ними на высоте каких-нибудь ста метров. Где-то застучал топор, а потом мы вдруг увидели и самого лесоруба. Забрался в гущу заповедника и заготавливает дрова!

— Я тебя вижу! — крикнул Ален на суахили. — Кто тебе разрешил рубить здесь лес?

Лесоруб стремглав юркнул в кусты. В жизни не видел, чтобы человек так быстро улетывал.

— Вижу, вижу тебя под кустом, — не унимался Ален. — Лучше бросай это дело.

Разумеется, долго стращать его мы не могли. При скорости 50 километров в час мы быстро ос-

тавили позади прячущегося в кустах нарушителя. Так закончился первый лесной обход с применением аэростата.

В отличие от нас склон впереди упорно карабкался вверх, и, чтобы исправить это несоответствие, я высыпал немного песка. Шар не спешил реагировать, тогда я высыпал еще. Аэростат продолжал идти горизонтально. Сколько я ни сбрасывал балласт, нас несло прямо на стену. Было похоже, что воздушное течение, вместо того чтобы плавно огибать холм, упирается в него. Следовало быть готовым к неприятностям. Я сбросил еще песка — никакого толку.

— Кажется, нам предстоит так называемая промежуточная посадка, — заметил я.

Так и вышло. Внезапно мы увидели впереди небольшую ферму. Возле хижины, окруженной чахлой кукурузой, стояло пять человек. Вот уже наш гайдроп чертит концом полосы на земле почти рядом с ними...

— Фантастический кадр — козы, вид сверху, — объявил Ален, запечатлевая на пленке редкостный эпизод.

— Посмотрите на этих людей! — воскликнул Дуглас. — Они не двигаются с места. Эй, Джамбо! Джамбо!

В ту же секунду мы ударились о землю. Толчок был весьма ощутимый. На мгновение гондола остановилась, затем шар рванулся вверх и понес нас дальше.

— Подумать только, они даже шага не сделали, — сказал Дуглас, разбираясь в своих конечностях. — Ква хери! До свиданья! Когда еще к вам следующий шар прилетит! Ква хери!

Моя догадка насчет воздушного течения подтвердилась. И хотя мне не удалось предотвратить промежуточную посадку, зато потом мы подскочили до высоты около тысячи метров и с большим запасом прошли над макушками Нгонг. Слово быстрая река, встречающая огромный валун, воздушное течение круто перевалило через холмы, и мы с ним.

Сразу за гребнем, как и следовало ожидать, мы начали снижаться. Это нас вполне устраивало, и я не вмешивался в ход событий. Оставив позади Нгонг, мы шли со скоростью около ста метров в минуту. А отойдя от холмов километра на два, на три, идя на уровне их макушек, аэростат вдруг словно взбесился. Гондола качалась, будто маятник, взад-вперед, в то же время ее бросало из стороны в сторону, а мы отчаянно цеплялись за край корзины. Тот же бешеный вихрь, который помыкал нами, трепал оболочку вокруг патрубка. Мы чувствовали себя отвратительно.

Неожиданно болтанка прекратилась, полет опять стал ровным и спокойным. Ничего подобного мне не приходилось встречать во время моих уроков в Голландии. Это явление характерно для гор; недаром даже пилоты тяжелых летательных аппаратов относятся к ним с великим почтением. Мы попали в ветровую волну, и действие ее оказалось весьма ощутимым.

Обратимся к примеру с валуном. Если река плавно перекачивается через него, поверхность ниже по течению будет гладкой. Но если течение очень быстрое или валун очень велик, плавная струя будет смята. Причем это не беспорядочная турбулентность, у нее рисунок правильной волны. Вот с такой неладной штукой мы и столкнулись.

— Боюсь, это еще не все, — сказал я.

Действительно, вскоре нас снова повлекло вниз. И сколько я ни сбрасывал песок, шар продолжал терять высоту. Мы опять были во власти нисходящего течения. Как и в прошлый раз, можно было выбросить, скажем, сразу три мешка балласта, и мы пошли бы вверх вопреки течению; но, вырвавшись из него, шар устремился бы в поднебесье со скоростью ракеты. Лучше уж сбрасывать песок горстями, тормозить падение. Ударимся о землю, зато на малой скорости никто не пострадает.

Так состоялась вторая промежуточная посадка. Правда, мы стукнулись довольно крепко, но остались невредимыми.

Удар о землю — да и просто приготовления к нему, когда руки лихорадочно искали очередной мешок с песком, повлекли за собой последствия, которые можно назвать полным беспорядком. Кто-нибудь видел футляр от большой линзы? Или пленку, которую я только что вынул из аппарата? А это чье? И так далее в том же духе. Если не считать самого толчка, больше всего нас раздражали мешки с балластом. Как бы осторожно их ни поднимали со дна корзины, они лишь усугубляли хаос. Как правило, эти мешки висят снаружи на гондоле, но колючие кусты вынудили нас внести изменения в эту ситуацию. Мы быстро остались бы без песка, если бы придерживались так называемой «обычной практики».

У нас еще было три мешка, когда мы опять начали терять высоту. Из нашей корзины, подвешенной в тысяче метров над землей, очень уж отчетливо было видно, что воздушное течение несет нас прямо на гору, хотя мы предпочли бы перевалить через нее.

Дальше все происходило с головокружительной быстротой. Я высypал полмешка. Уж теперь-то мы должны подняться! Увы, этого не произошло, и над нами нависла угроза нового столкновения.

— Ален, возьми-ка последний мешок. Бросай его, когда скажу. Нам надо постараться сесть здесь. Черт возьми, нелегкая задача! Постой, не сбрасывай еще... Держись, ребята, садимся. Поберегись!

Мы с маху врзались в скалу. Глядя на край огромной лавовой глыбы, я ловил рукой строп. Вдруг рядом с гондолой вырос куст, и я присел. Мои товарищи тоже присели. Сидя на дне корзины, я пытался в щели между прутьями различить, сколько осталось до земли. Да, не меньше пятнадцати метров, скала уже позади. Успел я дернуть разрывной строп? А если успел, почему мы идем так быстро вверх? Даже если клапан сорван только наполовину, теперь, когда скала пройдена, до земли достаточно далеко, мы успеем, падая, развить хорошую скорость... Однако мы не падаем, напротив, продолжаем подниматься, я видел это даже без альтиметра.

— Кто-нибудь видел альтиметр?

— Господи, я-то думал, ты вывалился из корзины!

Оба, Дуглас и Ален, были убеждены, что удар о скалу вышиб меня из гондолы, хотя при такой тесноте они, казалось бы, должны были видеть меня.

Так или иначе, мы шли вверх, и положение было крайне неприятным. Ален побывал-таки за бортом, когда мы на секунду встретились с землей. Как иначе объяснить глубокую ссадину у него на ноге, пониже колена? В гондоле ничего такого нет, что могло бы причинить ему такую рану. Сам пострадавший смутно помнил, что ушибся о что-то твердое. И при этом он, естественно, выронил мешок

с песком. Еще раньше я разделался с моим. Теперь понятно, почему мы так быстро пошли вверх! Весь балласт, все до последней песчинки сброшено. Не осталось ни грамма, чтобы притормозить, когда мы снова начнем падать.

Проверяя имущество и отыскивая, как обычно, пропавшие предметы, мы установили, что потерял не только мешок с песком. Пропала одна фляга и две бутылки пепси-колы, у Алена сорвало с пояса батарею. А значит, груз стал еще меньше, и мы заберемся намного выше, чем думали. И с большой высоты пойдем вниз, не располагая ни единой песчинкой балласта. Никто и ничто нас не выручит. Мы наедине с бедой, одни в огромном и грозном воздушном океане.

Как-то отрешенно мы посмотрели на альтиметр. Стрелка упорно наращивала цифру. Минут через десять после нашего самого неприятного из всех столкновения с землей она, наконец, остановилась. Мы парили в добрых полутора километрах над жаркой коричневой пылью, выстилающей дно Рифт-Валли. Прибор показывал почти три тысячи метров над уровнем моря.

Представьте себе чувства человека, принявшего яд, действие которого скажется не раньше чем через час, а то и два. С одной стороны, он как будто совершенно здоров, с другой стороны, знает, что фатальный исход неминуем.

Мы ощущали что-то в этом роде. Лично мы ни на что не могли пожаловаться. Все трое невредимы, только у Алена из ноги еще сочилась кровь, но незначительность этой ссадины словно подчеркивала весь ужас того, что нам грозило. Да что такое ссадины и царапины, когда альтиметр показывает три тысячи метров и нет ни грамма балласта?!

У нас были две возможности. Первая: использовать парашютные свойства шара. Известны случаи, когда этот способ спасал аэронавтов. Дергают разрывной строп. Теоретически (если все пойдет благополучно) газ должен вытечь, а оболочка останется внутри сети. Эта пустая оболочка (опять-таки если все пойдет хорошо) примет вид зонта и затормозит падение. Если удачи не будет, газ выйдет, а оболочка не примет вид зонта. Она соберется в ком внутри сети и уже не сыграет роль тормоза. И шар со всеми придатками так ударится о землю, что команде ни за что не уцелеть.

Вторая возможность — сбросить все, что сбрасывается, и уповать на то, что этого будет довольно, чтобы удержать скорость снижения в разумных рамках. Мы еще располагали кое-какими предметами, которые можно было выбросить без особого сожаления, и тем более ради спасения жизни. Для наглядности мы отложили в сторону все эти предметы. Сюда входили пустые мешки, уцелевшие фляги, сверток с нетронутым провиантом, киноплёнка, а также футляры от камер. По моим расчетам, вся эта куча весила около пятнадцати килограммов. Следующую партию, которую мы не стали пока оформлять в виде готовой кучи, составляли более ценные предметы. В том числе камеры, линзы к ним, приборы, обувь и бинокли. Если первой жертвы окажется недостаточно, придется немедленно принести вторую.

Дернуть разрывной клапан и выпустить весь газ на большой высоте — для этого требуется немалое мужество. Лично я сомневался, что у меня его наберется столько, сколько нужно, поэтому я облегченно вздохнул, увидев, что нам доступен способ номер два. Я объяснял также, что в аварийных ситуациях рубят гайдроп, после чего, держась за

кольцо, обрезают стропы, крепящие гондолу. Обе эти меры вполне реальны, к ним не раз прибегали, однако мне не хотелось так поступать в Африке, да ещё в такой дикой местности. Конечно, сорок шесть килограммов (вес корзины) — солидный груз, и все-таки мне казалось, что на острые камни и колючие кусты лучше падать в гондоле, пусть даже с ней мы будем снижаться гораздо быстрее. Так больше шансов сохранить жизнь. Ведь даже при минимальной скорости снижения остается еще горизонтальная скорость около пятидесяти километров в час. По тени азростата было видно, что ветер ничуть не унялся.

Очутившись в такой ситуации на высоте трех тысяч метров, борешься с искушением прыгнуть за борт и поставить точку. Все, что угодно, только не висеть в поднебесье, ожидая, что там еще решат стихии! Мы стояли и помалкивали, и в голове было как-то пусто, и нам было совсем не до простирающихся внизу ландшафтов. Внезапно в лицо донуло ветром. Ясно — пошли вниз. Жутковато, конечно, но зато недолго ждать развязки.

Я решил не тормозить, как обычно, а идти с ускорением и уже метрах в трехстах над землей сбрасывать вещи. Мне хотелось использовать неизбежный при стремительном падении нагрев обочки, ведь чем сильнее нагреется газ, тем больше его подъемная сила. В авиации у этого явления есть свое имя — эффект Монгольфье; я решил извлечь из него максимум пользы. И мы, покинув свой пост в небесах, наращивая скорость, устремились вниз. Шестидесят метров в минуту... сто пятьдесят метров... триста... и наконец — четыреста пятьдесят метров в минуту. Видимо, эта скорость представляла собой некий предел, потому что ускорение прекратилось. Впрочем, нам некогда было задумываться — отчего да почему. Пора было сбрасывать балласт.

— Давайте сбрасывайте! — распорядился я, и мои друзья немедленно принялись за дело.

— Все сброшено, — доложил Ален.

Послышался стук, когда различные предметы ударились о землю и камни. Но хоть падение замедлилось, земля продолжала приближаться достаточно быстро.

— Давайте еще что-нибудь, — сказал я и проводил взглядом большую кассету с пленкой. — Хватит... Теперь приготовились к посадке. Дуг, держи крепче камеры. Ален, тяни выпускной клапан, как только я дерну разрывной. Вдруг у меня не получится. Так, понеслись.

Да, мы здорово неслись. Чем ближе земля, тем быстрее она уходила назад. Впереди показалось высохшее русло. До берега еще есть время... А теперь он совсем близко... Пляшущий гайдроп заставлял гондолу болтаться во все стороны. Осталась секунда-другая... Ну!

Мы с Аленом дернули стропы как раз перед тем, как корзина ударилась о землю. Я почувствовал, что мой строп подался. В следующее мгновение мы врезались в дерево. Послышался треск. Шар опять подскочил, но всего на каких-нибудь пять-шесть метров. Я опять дернул строп и повис на нем. Шар вильнул и снова пошел вниз. Еще дерево. Опять треск. И толчок от удара. Я упорно тянул строп. Движение прекратилось. Гондола накренилась и упала набок. И мы вместе с ней. Полет окончен. Лежа, мы смотрели как продолжает опадать обочка. Но вот и она замерла. «Джамбо» угмонился.

Не успели мы немного прийти в себя, как услышали мощный гул в воздухе над нами.

— Что такое?

Ален выбрался из гондолы (так, и вторую колеску тоже разбил) и принялся кричать, размахивая руками. Над местом нашей посадки кружил небольшой самолет. Мы с Дугласом тоже выскочили из корзины, чтобы показать, что все в порядке. Я хлопал себя по бедрам и прыгал — мол, жив-здоров! Мои товарищи исполняли не менее потешные номера. Собственно, это делалось не столько для летчика, сколько для самих себя. Мы в самом деле живы! Все в порядке. Полет закончен. Нас не убило. Даже не ранило — впрочем, сейчас это было не так уж важно. Мы продолжали прыгать, смеяться и размахивать руками, а самолет вскоре улетел...

Мы весьма смутно представляли себе, где находимся, так же как не могли знать, что происходило в это самое время в Найроби. Один африканец, служащий финансового департамента, видел, как мы снижались. Совершенно правильно он заключил, что у нас явно что-то не ладится. С его точки зрения, наша посадка больше смахивала на падение. Он поспешил в полицейский участок и рассказал там о виденном. Рассказал очень убедительно, однако излишне сгустил краски. Ладно, он назвал нашу посадку падением, это еще куда ни шло, только специалист сумел бы провести грань между этими двумя понятиями, тем более что он стоял в двадцати километрах от нас. Но зачем же добавлять, что шар взорвался! Полиция мобилизовала все каналы связи и доложила в столицу: «Упал азростат. При этом отмечен сильный грохот. По словам очевидца, шар взорвался. Судьба экипажа неизвестна».

Когда передавалось это сообщение, муравьи, забравшиеся в мои штаны, тревожили меня куда больше, чем судьба нашего экипажа. К тому времени, как мы свернули оболочку, к месту происшествия уже мчались три машины из полицейского управления. В Ашуре приготовили в больнице палату на троих. Пилотам гражданской авиации было отдано распоряжение — искать место крушения. Словом, сильно приукрашенная версия единственного очевидца была сообщена всем возможным инстанциям. И многим другим. Что ни говори, «взрыв» — слово сильное.

Радиостанции помогли распространить новость, и она быстро стала всеобщим достоянием. Были, однако, три человека, которые об этом ничего не знали...

Облокотясь о корзину, мы обсудили, как поступить дальше. По мнению Алена, ближайшей дорогой — километров пятнадцать на восток — была дорога на Магади. У нас было три бутерброда и ни капли воды. Но ведь есть вероятность, что кто-нибудь из участников гонок заметит нас и захочет проведать. Выбрав просторную площадку, мы разорвали экземпляр программы воздушного праздника и развесили на кустах вокруг нее. Если это будет вертолет, ему вполне хватит места для посадки; если самолет — во всяком случае, летчик обратит внимание на размеченный квадрат.

Пока мы соображали, как нам утолить жажду, показалось несколько масаев. Еще в воздухе мы заметили хижину, но не были уверены, что их обитатели заметили нас. Так или иначе, появление людей означало, что где-то неподалеку можно найти воду. Но сперва надо уложить оболочку, жажду можно утолить потом. Вытащить из кустов сеть оказалось не так-то просто, потому что на каждую ячею нашлся свой персональный шип. Сама оболочка была податливее, однако то и дело раздавал-

ся характерный звук; еще один прокол... Масаи воткнули в землю свои колья и принялись помогать нам. Они не могли знать, что мы прилетели по воздуху, и наше внезапное появление было для них загадкой. Но это было не так уж важно; главное — с их помощью нам удалось все упаковать в корзину, после чего мы сели под деревом отдохнуть. Глядя на разбитый компас (во время посадки он лежал у меня в кармане), мы не столь огорчились, что сломан прибор, сколько дивились, как это нам опять так неслыханно повезло.

Белые листы программы продолжали колыхаться на ветру, но через полчаса нам стало очевидно, что надо обходиться собственными силами. Ничего особенного, мы к этому привыкли. Прогудевший самолет внушил было нам некоторые иллюзии (мы даже всерьез обсудили, уцелеет ли бочонок пива, если его сбросят с небольшой высоты); теперь же мы выкинули их из головы и обратились к масаям.

Вел переговоры Ален:

— Далеко тут до дороги?

— Дотемна полпути пройдете.

— А где можно найти воду?

— Пойдемте с нами. Мы дадим вам молоко.

Ковылять по камням в темноте нам не улыбалось. То ли дело попить молочка! И мы пошли за масаями. Они предложили нам переночевать у них, на что мы тоже с радостью согласились. Думали ли мы утром, что гонки примут для нас такой оборот и вечером мы будем шагать за масаями в их хижину, чтобы попить молока и устроиться на ночлег! Во всяком случае, они нас здорово выручили.

...И вот уже закрыты калитки из колючих прутьев, и мы укладываемся спать. Масаи устраивают свое жилище по старинке. Круглую площадку огораживают высокой стеной из плотно уложенных веток с шипами. Правда, известны случаи, когда леопарды и даже львы перескакивали через эти барьеры, но вообще-то они представляют собой внушительное препятствие. В эти колючие кораллы загоняют на ночь коров и коз, и они бродят до утра между хижинами. А хижины такие, что только ребенок станет в рост, — высота их меньше полутора метров. Такие прямоугольные эскимосские иглу с узким ходом. Мы протиснулись внутрь и осмотрелись. Я согласен, что низкий шалаш из прутьев, обмазанных навозом, к тому же стоящий посреди скотного двора, не называет идеальным жилищем, но в нем было очень уютно. Перед маленьким очагом, держа на коленях пухлого малыша, сидела миловидная девочка. Несколько чурбанов заменяли табуретки, и мы сели на них, пока нам готовили ложе, сиречь расчистили пространство длиной и шириной с обычную кровать и расстелили на земле скрипучую коровью шкуру. Хозяин жестом предложил нам ложиться. Тесновато, конечно, для троих, но мы кое-как втиснулись — Дуглас посредине, Ален и я по бокам.

Мне не давала покоя дурацкая жажда. Когда мы пришли, нам предложили целый калебас парного молока. Кружка нашлась только одна, и, сидя рядом возле хижины, мы передавали ее по кругу — вроде старух из легенды о Персее, у которых был один зуб и один глаз на троих. Сначала молоко показалось нам амброзией, каждый глоток доставлял наслаждение. Когда мы дошли до третьей кружки, вкус заметно испортился. Ален объяснил нам, что масаи иногда дезинфицируют посуду древесным углем. Может быть, молоко отдавало этим средством? Так или иначе, мы успешно справились с калебасом.

Масаи еще пьют коровью или львиную кровь, однако нам больше ничего не предложили — ни крови, ни молока. Очевидно, хозяева решили, что мы выпили достаточно. Просить еще было бы неучтиво.

Но боязнь задеть ближнего покинула нас, едва мы улеглись на жесткой, как камень, коровьей шкуре. Теснота не позволяла лечь на спину, оставалось спать на боку, стараясь не думать о ноющих суставах. Дуглас обладает природенной способностью засыпать сразу, стоит ему закрыть глаза: этот простейший способ он применил и теперь, мерно вдыхая дымный воздух. Не знаю, как себя чувствовал Ален, мне же чем дальше, тем меньше хотелось спать. В конце концов я встал, отыскал свои ботинки, пробрался к двери, послушал, как снаружи дует ветер, и сказал:

— Пойду погуляю.

Никто не отозвался, мои товарищи спали мертвым сном.

Зато на дворе кипела жизнь. Довольные коровы жевали свою жвачку, в отдельном загоне топтались козы. Я выбрал место на земле подле хижины, с подветренной стороны, и попробовал применить чудесный способ Дугласа. Закрыл глаза. Улегся поудобнее. Изобразил улыбку и начал глубоко дышать. Подошла любопытная корова идохнула мне в лицо чем-то отнюдь не похожим на чистый ночной воздух. Я зарычал на нее; корова мотнула рогами и отступила. Потом у самой моей головы за колючей изгородью заметалась коза. Не знаю, что с ней стряслось, но, несомненно, что-то ужасное. Она бляела, бляела как одержимая — ужасный звук, вобравший в себя все страдания земного шара. Наверное, такой же звук, глухой и вместе с тем пронзительный, издавал бы мужчина, если бы ему довелось рожать. Нищий, который вместо обезьяны водил бы с собой эту козу и заставлял бы ее вот так бляеть, выжал бы сострадание из самого лютого и подлого ростовщика, какого когда-либо видел свет. Эта коза явно играла не ту роль, которую заслуживала. Ее талант пропал зря и трагился лишь на то, чтобы не давать мне уснуть...

Утром все проснулись с первыми лучами солнца, хотя внутри навозных коконов по-прежнему было темно. Женщины согнали вместе коров и начали дойку, а я еще немного подремал, пока не проснулся от щекотки. Мои пятки соблазнили двух ребятшек, и они вооружились перьями. Я запустил в негодников увесистым комком навоза, они без труда увернулись и помогли мне разбудить моих товарищей. Дуглас и Ален признались, что ночью сквозь сон слышали бляение и решили, что кто-то душит козу, но ее судьба их ничуть не обеспокоила. Теперь они, хотя и не сразу, оторвались от своего ложа и выбрались наружу, чтобы насладиться утренним воздухом. Хозяева давно встали, и мы воспользовались случаем выразить свою благодарность. Женщины держались в сторонке, занимаясь своим делом. Мужчины сказали, что один из них может проводить нас и показать, как лучше выйти к дороге. Это предложение было нами принято с величайшей радостью. Только мы собрались идти за нашим проводником, как здоровенная корова повернулась ко мне и громко замычала. В моем репертуаре тоже есть такой звук, и я ответил тем же. На корову это никак не подействовало, зато произвело неотразимое впечатление на молчаливых женщин. Держась за бока, они громко, от души хохотали.

на стр. 76 ►



#### ЕСЛИ УПАДЕТЕ В КАНАЛ

В Амстердаме открыты специальные курсы, где водителей учат, как поступать при падении машины в канал. Это не лишняя предосторожность. В Голландии в 1967 году из 1038 водителей, свалившихся в канал, утонуло 78 человек. В такой отчаянной ситуации водителю для спасения остается, по оценке специалистов, не менее пяти минут. Те же специалисты считают, что этого времени вполне достаточно, если шофер заранее подготовлен к подобной «случайности».

#### КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА — МУЗЕЙ

Недавно в Музей транспортных средств в Дрездене перекочевал еще один экспонат: паровоз за номером 307, курсировавший по одной из узкоколеек округа Карл-Маркс-Штадт. Построенный в 1900 году, этот ветеран будет напоминать потомкам о веке пара.

#### КРОКОДИЛ-СПАСАТЕЛЬ

В прошлом году во Флориде была жестокая засуха. За весь май не выпало ни одного дождя. Берега пересохших рек были буквально устланы мертвой рыбой. Гибли черепахи, ибисы, пытаясь найти себе пищу и хотя бы немного воды.

Очень многим животным и птицам помог в этот момент выжить их извечный враг — крокодил. Уходя от засухи, аллигаторы делали все глубже и глубже свои норы на дне рек. Вода из них испарялась в последнюю очередь. Там-то и прятались птицы, выдры, еноты, черепахи... Гости иногда так плотно набивались в убежища, что порой вытесняли оттуда хозяев, и крокодилам приходилось искать себе новое пристанище.



#### «ЧЕРНЫЕ ПОНЕДЕЛЬНИКИ»

Оскар живет в Гамбургском зоопарке. В Оскаре шестьдесят кило. При таком весе прыгнуть на два метра не так-то просто! Тем не менее по понедельникам Оскар совершает свои рекордные прыжки. Почему именно по понедельникам? Причина этому — недуг, известный во многих зоопарках под названием «понедельничной хвори». Дело в том, что накануне, в воскресенье, посетители так перекармливают зверей (несмотря на строгие объявления), что те в буквальном смысле слова бросаются на стенку.

### ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ

„Вокруг света“, 1890 год

#### НЕУТОМИМЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ

Известный велосипедист, штабс-капитан артиллерии барон Келлескраус пробудет в Петербурге около месяца, а затем, как передает «Гражданин», переехав в Ковно, намеревается оттуда предпринять новое далекое путешествие на велосипеде. Барон рассчитывает отправиться в Кани и далее, переехав в Африку, совершить на велосипеде поездку в Абиссинию. Неутомимый велосипедист желает доказать возможность езды на велосипеде по всяким дорогам и при бездорожье, во всякое время дня и ночи и при всевозможных климатических и атмосферических условиях.



#### НОВЕЙШИЙ ПРОЕКТ ПРЯМОГО СООБЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЛА-МАНШСКИЙ КАНАЛ

На рассмотрение английского правительства поступил проект устройства полумоста-полутуннеля через Ла-Маншский пролив. Мысль о постройке такого сообщения принадлежит французскому инженеру Бюно-Варилья. Смешанная система спроектированного им сооружения имеет целью устранить опасения, внушаемые англичанам проектами сплошных подводных туннелей, и предохранить суда от опасностей, которым подвергалось бы их во время плавания присутствие посредки канала мостовых устоев. По плану Бюно-Варилья железная дорога должна быть проложена с каждой стороны на два километра (две версты) от берега в виде моста, за которым можно было бы свободно наблюдать и который в случае опасности вторжения неприятельских войск можно было бы быстро разобрать или разрушить. На расстоянии двух верст от обоих берегов Бюно-Варилья предполагает соорудить громадный бетонный бак, чрез который надводный рельсовый путь мог бы соединяться с подводным, и поезда без всяких остановок спускались бы отлогим скатом в туннель.

#### НОВЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ЗАКОН В НОРВЕГИИ

Стремление к развитию хозяйственности в девушках, будущих женах, везде становится вопросом дня. В Гордвигере, в Норвегии, нашли очень простое и верное средство, которое и привело к желаемой цели. Там выработан закон, по которому ни одна девушка не может выйти замуж, предварительное не выучившись пряхть, вязать и печь. Результат получился благоприятный. Благодаря такому закону все девушки в шестнадцать лет в этом городе уже мастерски умеют пряхть лен, вязать чулки и печь хлеба.

#### ИНЦИДЕНТ ПРИ ВАТЕРЛО

Главнокомандующий английской армией герцог Веллингтон рассказывал следующий инцидент. Во время битвы при Ватерлоо он одно время разослал всех своих адъютантов с приказаниями. Между тем ему нужно было немедленно послать распоряжение командиру полка, бывшего в самом пылу битвы. Герцог осмотрелся — ни один адъютант еще не возвратился.



### СЫТНЫЕ ЛИСТОЧКИ

В Индии давно известно, что листочки растения «калир-канда» снимают ощущение голода: пожевав их, человек обретает ощущение сытости. Члены касты «неприкасаемых», которым чаще других приходится прибегать к этому эрзацу, даже прозвали его «обмани желудок». И действительно, ученые, исследовав действие сока растения, установили, что он, не имея никаких питательных свойств, создает только иллюзию сытости. Некоторые фармацевтические фирмы в Европе и Америке собираются использовать «сытные листочки» для таблеток, предназначенных желающим похудеть.

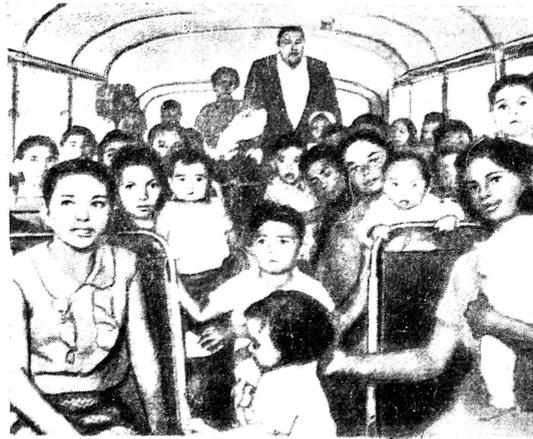
### ГАЗЕТНАЯ ХИМИЯ

С недавнего времени туристы, приезжающие в итальянский город Павия, едва выйдя из автобусов, кидаются к газетным киоскам. Как же можно упустить такой случай — ведь судьба привела их в город, где впервые в мире газета печатается не на бумаге, не на картоне, не на... В общем она печатается на пластиковой пленке. Номера «Джорнале ди Павия» идут нарасхват как сувениры, издатели радостно потирают руки, конкуренты лихорадочно спешат придумать что-нибудь такое, что-нибудь этакое, совершенно невиданное. Удастся это им или нет, увидят туристы.

### РАЗ, ДВА, ВЗЯЛИ!

Взяли и понесли сколоченный из фанеры паланкин. Кто скорее? Эти веселые гонки собирают в трафвете Оксфордшир несколько десятков команд и бесчисленное количество зрителей в конце каждого учебного года.

Английские школьники очень любят эти традиционные состязания. Особенно почетным считается место в паланкине — за право занять его идет соревнование весь год — в учебе и спорте.



### СЕМЕЙНЫЙ АВТОБУС

Прогулка с семьей — приятное занятие. Правда, не всякий экипаж годится для этого. Пятидесятилетнему бразильцу Раймондо Карнаубо, скажем, приходится нанимать... автобус. За тридцать два года совместной жизни его жена Мария подарила мужу шестнадцать раз по двойне. Так что семейный променад каждый раз вырастает в проблему.

### ПИРОГИ ПО-ДОМАШНЕМУ

Один булочник из Бостона решил выпустить подгоревшие кондитерские изделия. Самое удивительное — они пошли у него нарасхват! Вкусная эти «подгоревшие, как дома», пироги, мужья верят, что жены сами пекли их, едят и похваливают.



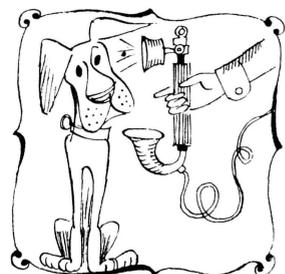
### ПИР НА ДНЕ МОРЯ

Как ни покажется романом Жюль Верна такое заглавие, основанием для него служит факт, бывший недавно в Ла Сиоте, приморском городе департамента устья Роны, во Франции. Там производились работы по углублению порта, и в ознаменование их успешного окончания заправлявший ими директор решил дать банкет на дне моря, в том самом кессоне, в котором работали. Внутренность кессона имела вид настоящей банкетной залы: она была уставлена великолепно убранными столами и освещена электричеством. Было даже отведено место для небольшого оркестра, мелодические звуки которого смешивались с другою мелодию, менее благозвучною, но успокоительно действовающею на присутствующих: постоянным шипящим шумом воздушного насоса, свидетельствовавшим, что о дыхательных органах гостей так же заботятся, как и об их желудках. Не было недостатка и во влаге для смочения горла, и стаканы громко и весело звенели на глубине 8 метров от поверхности моря, причем, конечно, проносились и речи, исполненные пожелания всяких благ стране, городу и прежде всего здравия устроителю банкета.

### СОБАКА, СЛУШАЮЩАЯСЯ ТЕЛЕФОНА

„Пти журнал» передает как факт следующий случай с собакой. Один из дижонских нотариусов находился на даче, которая была соединена телефонным проводом с его городской конторой. Он пожелал иметь при себе свою собаку, которая осталась в Дижоне, для чего он телефонировал своему главному клерку, чтобы тот приставил аппарат к ушам собаки, что последним и было исполнено. Тогда нотариус громко позвал: «Фокс, Фокс!» Удивленная собака насторожила уши и стала озираться по сторонам, ница хозяина; через несколько минут зов был повторен, тогда собака стремглав бросилась из конторы и пустилась бежать на дачу своего хозяина, к которому и явилась.

Рисунки В. ЧИЖИКОВА



— Лучшего заключительного номера ты все равно не придумаешь, — сказал Дуглас, и мы покинули маньятту<sup>1</sup>.

Сперва мы заглянули туда, где оставили гондолу, и убедились, что все в порядке, после чего начался трехчасовой переход до шоссе. Мы трусили по каменным плитам, форсировали русла высохших рек, продирались сквозь колючий кустарник — словом, прогулка как прогулка. Вот только жажда нас донимала. Масаи привыкли обходиться прожиточным минимумом, им невдомек, к каким излишствам мы приучены. Наш проводник, наверно, ничего не ел и не пил перед выходом. И будет терпеть почти до вечера, когда вернется в свою маньятту, пройдя в общей сложности около тридцати километров.

К тому времени, как мы, наконец, добрались до дороги — пыльной каменной ленты, петлями уходящей вдаль, — никто уже не говорил о напитках, тема была слишком острая. Проводник простился с нами, и мы сели под деревом ждать попутной машины. Не прошло и часа, как показался «форд-консул», битком набитый пассажирами. Мы втиснулись в кузов и через два часа выскочили из него в предместьях Найроби. Легко представить себе, как выглядела наша троица после такого перелета и ночевки в маньятте, но зато на душе было радостно.

<sup>1</sup> Маньятта — охотничья или пастушеская хижина масаев. (Прим. ред.)

Думаю, не только я, но и оба моих товарища не переставали удивляться тому, что в нашем распоряжении шесть работоспособных ног и все повреждения ограничиваются разбитыми коленками Алена. Правда, одежда превратилась в лохмотья, но ее вид только лишний раз напоминал, как нам упорно везет. Бодрыми шагами мы поднялись к дому Алена, вошли во двор и постучались.

Десять минут спустя, прочитав письменные сообщения и получив дополнительную информацию по телефону, мы ясно представили себе, что происходило в наше отсутствие. Ни летчик, который видел, как мы сели, ни его пассажир, который сделал за подалую попытку сфотографировать нас сверху, не уведомили власти, что мы благополучно приземлились. Они вернулись в аэропорт Вильсон — место нашего старта — и никому ничего не сказали про нас. И власти, располагая только слухами о наших акробатических упражнениях в воздухе по обе стороны гряды Нгонг, распорядились начать розыски аэростата. Вылетел полицейский самолет, второй стоял наготове со всевозможным снаряжением. И теперь надо было срочно отзываться обратно через спасателей...

Вывозить надо было только шар. «Джамбо» покорно расстался с водородом, и все кончилось. Достойно и благородно воздушный шар прекратил свое существование, перестав быть частью восхитительного небосвода. Кончились его воздушные странствия, кончились его африканские дни.

Перевел с английского Л. ЖДАНОВ

## ГИЕНА — ОХОТНИК, РАВНЫЙ ЛЬВУ.

Это утверждает голландский натуралист Ханс Крук. «Когда я начал работу в Африке, — пишет ученый, — то, как и большинство других исследователей, считал, что гиена питается прежде всего остатками трапезы более сильных животных. Но однажды я увидел, как гиены преследовали большое стадо антилоп. Затем настигли и повалили на землю крупного самца. И тут произошло, казалось бы, невероятное.

Не успели гиены приступить к пиршеству, как из-за кустов появилась львица. Гиены вначале бросились врассыпную, а львица улеглась у покинутой туши. Но спустя мгновение гиены кинулись со всех сторон на противницу. И львица побежала...

Однако триумф гиен длился недолго. Вскоре появилось несколько львов. Силы были явно неравны — и гиены нехотя и неторопливо оставили свою добычу и залегли поодаль.

Проходили часы, наступила зоря. После восхода солнца, когда я собирался уже домой, появилась, трясаясь на ухабах, машина, набитая туристами. Она объехала во круг животных и остановилась. Из окон показались камеры.

Одна из туристок поглядела на гиен и обратилась к соседке:

— Посмотрите на этих трусливых гиен. Они ждут обедков после львов...»

## СООБЩЕНИЕ ХАНСА КРУКА КОММЕНТИРУЕТ КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК Ф. ШТИЛЬМАРК:

Свидетельство голландского натуралиста, показывающее гиену сильным и ловким хищником, порой не уступающим свою охотничью тропу даже льву, еще раз подтверждает, что многие установленные когда-то представления о природе нуждаются в пересмотре. С тех пор как по Африке путешествовал Альфред Брем, составивший едва ли не первое научное описание гиен как трусливых хищников, питающихся в основном остатками трапез сильных зверей, прошло около века. За это время заметно нарушились так называемые биологические сообщества многих обитателей африканских пустынь и лесов, что вызвало не-

которые изменения в образе жизни животных. Возможно, наблюдения Крука косвенным образом подтверждают установленный биологами факт уменьшения в Африке численности диких копытных животных — и гиены, постепенно лишаемые «традиционных» блюд — остатков жертв крупных хищников, — теперь сами вынуждены выходить на «охотничью тропу».

## «ПРОДАЮТСЯ ПРИРУЧЕННЫЕ ВИРУСЫ»

Вероятно, такого рода объявления когда-нибудь действительно появятся. Дело в том, что сейчас в лабораториях многих стран мира ведутся активные работы по отбору «живых препаратов» — бактерий и вирусов, — уничтожающих определенные виды вредных насекомых. Вскоре список «живых препаратов», уже применяемых в борьбе с сельскохозяйственными вредителями, пополнится еще одним — опробованным в Канаде доктором Жаком. Вирусы, отобранные и испытанные ученым, прицельно поражают хлопковую и капустную совку. Если их внести в почву при посадке капусты, то вирусы надежно защитят огород от вредителей в течение шести лет.

**Загадки  
Проекты  
Открытия**



## И пошел дождь...

Рисунки В. ЧЕРНЕЦОВА

**В**ождь был еще далеко от ворот, когда Оганда увидела его и побежала навстречу. Запыхавшись, она спросила отца:

— Какие новости, великий вождь? Всем в деревне не терпится услышать, когда пойдет дождь.

Лабонго протянул руки к дочери, но не сказал ни слова. Озадаченная холодностью отца, Оганда побежала обратно в деревню предупредить, что вождь вернулся.

Атмосфера в деревне была напряженной и суматошной. Люди бесцельно суетились возле хижин, ничем не занимаясь всерьез.

Люди видели, как вождь сохнет и худеет оттого, что его ежечасно мучают расспросами. «Наша скотина дохнет на полях, — говорили люди. — Вскоре настанет очередь наших детей, а потом и наша. Скажи

нам, что делать, о великий вождь...» И вождь через своих предков ежедневно обращался к всевышнему, прося избавить народ от великого бедствия.

Лабонго молча прошел в свою хижину — знак, что его нельзя беспокоить. Закрыв ставень, он сел в полутемной хижине и стал думать.

У Лабонго было тяжело на душе. Теперь уже не потому, что решался вопрос, быть ли ему вождем. На карту была поставлена жизнь его дочери, его единственной дочери. Когда Оганда встречала его, он увидел цепочку, сияющую у нее на поясе. Пророчество свершилось.

— Оганда, Оганда, моя единственная дочь, должна умереть такой молодой...

Вождь не должен плакать. Общество объявило его храб-

рейшим среди мужчин. Но сейчас Лабонго было все равно. Сейчас он был просто отец и горько плакал. Он любил свой народ луо, но что для него луо без Оганды? Ее рождение внесло новую жизнь в мир Лабонго, и он правил лучше, чем когда бы то ни было раньше.

— Так много домов и родителей, у которых есть дочери. Зачем выбирать именно ее? Она все, что у меня есть.

Лабонго говорил так, словно предки были в его хижине, и он стоял с ними лицом к лицу. Возможно, они и были там, предупреждая его, чтобы он не забывал обещания, данного перед старейшинами:

«Если нужно, я не пожалею своей жизни или жизни своих домашних, чтобы спасти племя от врагов».

«Отрекись! Отрекись!» — слышал он насмешливый голос предков.

Когда Лабонго стал вождем, он был еще очень молодым человеком. Не в пример отцу, в течение многих лет он правил, имея только одну жену. Но люди тайком посмеивались над ним, потому что эта его единственная жена не приносила ему дочери. Он взял вторую, третью, четвертую жену. Но все они рожали мальчиков. Когда Лабонго взял пятую жену, она родила ему дочь. Они назвали ее Оганда, что значит «бобы», потому что у нее была очень гладкая кожа. Из двадцати детей Лабонго Оганда была единственной девочкой. Хотя она была любимицей вождя, другие его жены подавляли чувство ревности. В конце концов, говорили они, Оганда скоро выйдет замуж, и тогда вождь обратит свою милость, расположение и любовь к одному из своих сыновей.

Никогда не стоял вождь перед таким отчаянным решением. Отказ уступить просьбе делателя дождя значил бы, что он ставит свои интересы выше интересов племени, что он не повинуется воле предков и готов смириться с исчезновением всего народа луо с лица земли. Но Лабонго знал: если он принесет Оганду в жертву, то уже никогда не оправится от потери и не сможет быть хорошим вождем.

В ушах у него все еще звучали слова колдуна Ндйти: «Подхо, предок луо, прошлой ночью явился мне во сне и просил меня поговорить с вождем и народом. Чтобы прошел дождь, должна умереть молодая женщина, еще не познавшая мужчину. Подхо говорил со мной, а я видел девушку, стоявшую на берегу озера с руками, закинутыми над головой. Кожа у нее была как у нежной молодой лани. Ее высокая стройная фигура светилась, как одинокая тростинка на берегу реки в лучах заходящего солнца. В ее сонных глазах таилась грусть, как в глазах матери, перенесшей тяжелую утрату. В мочке левого уха у нее было золотое кольцо, а вокруг пояса вилась блестящая медная цепочка. Я восхитился ее красотой, и Подхо сказал мне: «Из всех женщин Земли мы выбрали эту. Пусть она принесет себя в жертву чудовищу, живущему в озере! И в тот же день дождь прольется, как поток. Пусть все в тот день сидят дома, чтобы их не унесло половодьем».

В деревне стояла настораживающая тишина, только на умирающих деревьях тихо щелкали заморенные жаждой птички. Слепящий полуденный зной загнал людей в хижины. Недалеко от хижины вождя похрапывали стражники. Лабонго снял корону, вышел из хижины и вместо того, чтобы попросить Ниабого, рассыльного, ударить в барабан, подошел к барабану и ударил в него сам. Сразу же все домашние собрались под деревом сиалы, где он обычно говорил с ними. Оганду он попросил подождать в хижине бабушки.

Слезы душили Лабонго, и голос у него был хриплым. Его жены и сыновья поняли: им грозит опасность, наверное, враги объявили войну. Наконец он сказал:

— От нас уйдет человек, которого мы любим и лелеем. Оганда должна умереть. Чтобы пролился дождь, предки выбрали ее в жертву чудовищу, живущему в озере.

На мгновение среди людей воцарилась мертвая тишина. Мать Оганды упала в обморок, и ее унесли в хижину. Но другие люди радовались. Они танцевали кругом и пели: «Оганда счастливица, она умрет за

свой народ. Если так надо, чтобы спасти народ, пусть Оганда умрет».

А в это самое время Оганда гадала, что же это обсуждают, чего ей нельзя слушать. «Должно быть, мое замужество», — решила она, и улыбка заиграла на ее губах. Она подумала о молодых парнях, глотавших слюнки при одном упоминании ее имени.

Был Кеч, сын старейшины одного соседнего клана. Кеч красив. У него милые нежные глаза и громовой смех. Из него вышел бы замечательный отец. Но Кеч маловат ростом, чтобы подойти ей в мужья. Для нее будет унижительно, говоря с ним, каждый раз смотреть на него сверху вниз. Потом она подумала о Димо, высоком молодом парне. Это был храбрый воин и сильный борец. Димо любил Оганду, но Оганда боялась его жестокости. Нет, он ей не нравится. Подумав об Осинде, Оганда прикоснулась пальцами к цепочке, сверкающей на поясе. Когда она была совсем маленькой, Осинда подарил ей эту цепочку.

— Пусть это они говорят о тебе, Осинда, любимый. Приди и заведи меня.

Сквозь приоткрытую дверь она видела, как пели и плясали возбужденные родственники. Сейчас они приближались к хижине, каждый нес какое-нибудь подношение, чтобы положить у ног Оганды. Пение становилось все громче, Оганда начала разбирать слова: «Если это для того, чтобы спасти народ, если это для того, чтобы дать нам дождь, пусть Оганда уйдет. Пусть Оганда умрет за свой народ и за своих предков».

Наверное, она сошла с ума, если думает, будто это поют о ней? Как она может умереть?

— Бабушка, значит, вы говорили не о замужестве? — позвала Оганда.

И вдруг почувствовала панический страх, как мышь, загнанная в угол голодным котом.

Она закрыла глаза и прыгнула, как тигрица, в дверь, повалив бабушку на землю. Снаружи, облаченный в траурный наряд, стоял неподвижно Лабонго. Он взял дочь за руку и повел прочь от возбужден-

ной толпы к небольшой красной хижине, где в беспмятстве лежала мать Оганды. Там он сам сообщил дочери страшное решение.

Долго сидели в темноте три горячо любящих друг друга человека. Они ни о чем не могли говорить. Даже если бы они и попытались, они не нашли бы слов. Все эти годы они, как три камня очага, делили общее бремя. Уйдет Оганда, и останутся два ненужных камня, которые уже не удержат котла.

Весть о том, что прекрасную дочь вождя принесут в жертву, чтобы люди получили дождь, разнеслась по краю, как ветер. И на закате деревня вождя была полна родственников и друзей, пришедших поздравить Оганду. Много других было на подходе, все они несли дары. Они будут плясать до утра, чтобы Оганде не было скучно, а утром устроят большой прощальный пир. Если духи посылают тебя на смерть ради жизни племени, это большая честь, считали они.

«Имя Оганды всегда будет жить среди нас», — говорили люди.

Конечно, это честь, большая честь, если дочь женщины избрана, чтобы умереть за свою страну. Но что от этого матери, когда ее единственную дочь развеет по ветру? В стране так много других, почему же выбрали ее дочь, ее единственное дитя?

В безоблачном небе ярко светила луна и сверкали бесчисленные звезды. Танцоры всех возрастов собрались и танцевали перед Огандой, а она сидела, прижавшись к матери, и беззвучно рыдала. Теперь она обнаружила, что она всем чужая. Если люди действительно любят ее, как они всегда утверждали, почему же никто ей не сочувствует? Почему ничего не делают, чтобы спасти ее? Понимают ли они, что это — умереть молодой? Не в силах больше сдерживаться, она громко зарыдала, когда поднялась танцевать ее сверстницы. Они молоды и красивы, очень скоро они выйдут замуж, и у них появятся свои дети. У них будут любимые мужья и небольшие хижины. Подумав об Осинде, Оганда снова коснулась цепочки на поясе. Ей хотелось, чтобы и Осинда был

здесь. «Он, наверное, заболел», — подумала она. Цепочка успокоила Оганду: она умрет с этой цепочкой на поясе и будет носить ее в загробном мире.

Утром в честь Оганды был устроен большой пир.

«Люди не едят после смерти», — говорили ей.

Пища казалась восхитительной, но Оганда к ней не притронулась. Пусть едят эти счастливые люди.

Скоро ей уходить, дорога каждая минута. До озера целые сутки пути. Ей придется идти всю ночь, проходить через большой лес. Но никто не посмеет тронуть ее, потому что Оганда помазана священной мазью.

Перед вечером вся деревня собралась у ворот попрощаться с нею. Не было только Осинды.

Великий вождь в траурной шкуре, босиком, подошел к воротам и смешался с людьми — простой отец, которого постигло горе. Он снял браслет, надел его на руку дочери и сказал:

— Ты всегда будешь жить среди нас. Дух наших предков с тобой.

Онемевшая и безучастная к вере соплеменников, стояла Оганда перед людьми. Ей нечего было сказать. Она еще раз оглядела свой дом. Она слышала, как больно бьется в груди ее сердце. Всем мечтам детства приходил конец. Она чувствовала себя цветком, который срывают, не дав ему расцвести, и которому никогда больше не видеть утренней росы. Оганда посмотрела на плачущую мать и прошептала:

— Когда бы ты ни захотела увидеть меня, всегда смотри на закат. Я буду там.

Оганда повернулась к югу и начала свой путь к озеру. Ее красивая, стройная фигура становилась все меньше и меньше, пока не смешалась с тонкими сухими деревьями леса.

Оганда шла по одинокой тропинке и пела песню, которая рождалась из глубины ее души.

Предки сказали, Оганда должна умереть,

Дочь вождя должна быть принесена в жертву. Когда озерное чудовище насытится моей плотью,

Люди получают дождь.

Да, дождь прольется, как поток. Задует ветер, загремит гром. И половодье смоем песчаные берега,

Когда дочь вождя умрет в озере.

Мои сверстники согласились, Мои родители согласились, А также друзья и родственники:

Пусть Оганда умрет, чтобы дать нам дождь.

Мои сверстницы молоды и зрелы,

Созрели для женственности и материнства;

Но Оганда должна умереть молодой,

Оганда должна покоиться с предками.

Да, дождь прольется, как поток.

Красные лучи заходящего солнца обнимали Оганду, и она казалась свечкой, горящей в пустыне.

Солнце было уже высоко в небе, когда она проснулась. После многих часов она добралась до тонги — полоски земли, отделявшей населенную часть страны от священного места — кар ламо. Ни один мирской человек не мог войти туда и вернуться живым — только посвященным разрешалось входить в святая святых всевышнего. Но Оганда должна была пройти через эту священную землю, чтобы добраться к озеру на закате дня.

Снова собралась большая толпа, чтобы посмотреть на нее в последний раз. Она охрипла, ей было больно петь и говорить. Люди с сочувствием смотрели на Оганду, бормоча слова, которых та не слышала. Но ни один из них не молил о ее жизни. Вдруг маленькая девочка вырвалась из толпы и побежала к ней. Девочка разжала потный кулачок, протянула Оганде детскую сережку и сказала:

— Когда доберешься до мира мертвых, отдай сережку моей сестре. Она умерла на прошлой неделе. Она забыла эту сережку.

Оганда, пораженная ее просьбой, взяла сережку и отдала девочке свою воду и пищу. Они ей больше не нужны. Оганда

слышала, что люди посылают приветы своим давно умершим возлюбленным, но мысль о том, чтобы послать подарки, была для нее новой.

Вступая на священную землю, Оганда затаила дыхание.

Какое-то странное чувство охватило ее. Ее пугали незнакомые звуки, и очень хотелось куда-нибудь спрятаться, убежать. Но она помнила, что должна исполнить волю своего народа. Силы ее истощались, а тропинка все вилась и вилась дальше. Неожиданно тропинка оборвалась на песчаной земле. Вода отступила от берега на несколько миль, оставив широкую полосу песка. Впереди открывался широкий простор воды.

Оганда испугалась. Она пыталась представить величину, образ чудовища, но страх мешал ей сосредоточиться. Люди редко говорили о чудовище, а дети замирали при одном упоминании его имени. Солнце было все еще высоко, но оно уже не было жарким. Оганда долго шла, погружаясь по щиколотку в песок. Она шла и шла, и ею завладело странное чувство, будто кто-то преследует ее. Может быть, это чудовище? Волосы у нее стали дыбом, и холодок ужаса пробежал по спине. Она посмотрела назад, по сторонам, вперед — нигде ничего, только сзади висело облако пыли.

Оганда заторопилась, но чувство преследования не покидало ее, и вся она покрылась испариной.

Солнце быстро покатилось вниз, а берег озера, казалось, удалялся вместе с ним.

Оганда бросилась бежать. До захода солнца она должна быть на берегу озера. На бегу она слышала, что сзади доносится какой-то шум. Она резко оглянулась: что-то похожее на движущийся куст по-сумасшедшему мчалось за ней и вот-вот должно было догнать ее.

Оганда бежала изо всех сил. Она решила броситься в воду, не дожидаясь захода солнца. Не оглядываясь, она чувствовала, что страшное существо догоняет ее. Она, как в кошмарном сне, попыталась крикнуть, но не услышала своего голоса. Существо поравнялось с Огандой. Сильная рука схва-

# ВОКРУГ ЗЕМЛИ

№ 4 АПРЕЛЬ 1969

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>В. АРСЕНЬЕВ</b> — Забота . . . . .	2
<b>МАРИО СОЛДАТИ</b> — Знаменитая актриса . . . . .	8
<b>А. ШАМАРО</b> — Атлас Ленина . . . . .	12
<b>А. ОНЕГОВ</b> — Весна . . . . .	16
<b>Ю. СТЕПАНОВ</b> — Память о первом дне . . . . .	17
Динозавры на Хоккайдо . . . . .	20
<b>УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР</b> — Старики . . . . .	22
Врачеватель золотых петушков . . . . .	31
<b>Д. БИЛЕНКИН</b> — Кому открыт космос . . . . .	32
Загадки, проекты, открытия . . . . .	35, 49, 76
<b>ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ</b> — Ох, уж эти влюбленные! Атавизм. Мысли не пахнут . . . . .	36
<b>ВЕСЛАВ ДАНЕЛЯК</b> — Баобаб, помощник ученых . . . . .	39
<b>Ж. ЖЕНЭ, Т. САТЕРН, Д. СЭК</b> — Четыре дня Чикаго . . . . .	40
<b>ИВ-ГИ БЕРЖЕС</b> — По стопам автостопа . . . . .	48
<b>ГАНС БЕШ</b> — Безупречность . . . . .	50
<b>А. ДРАНОВ</b> — Их называли маврами . . . . .	52
<b>ОЛЕГ КУВАЕВ</b> — В стране неторопливых людей . . . . .	58
<b>В. ИЛЬИН</b> — Вургасян-Вад: звери бронзового века . . . . .	64
<b>ЭНТОНИ СМИТ</b> — Самое надежное — воздух . . . . .	66
Кое-что о шарах . . . . .	68
Пестрый мир . . . . .	74
Листая старые страницы . . . . .	74
<b>ГРЕЙС А. ОГОТ</b> — И пошел дождь... . . . . .	77

На первой странице обложки: Весна в Мещерском крае.  
Фото Л. ПУЩИНОЙ.

Главный редактор **В. С. САПАРИН**

Члены редакционной коллегии:

**В. И. АККУРАТОВ, А. В. ГУСЕВ, И. М. ЗАБЕЛИН, М. М. КОНДРАТЬЕВА, В. Л. КУДРЯВЦЕВ, А. А. НОДИЯ** (заместитель главного редактора), **Ю. Б. САВЕНКОВ** (ответственный секретарь), **А. И. СОЛОВЬЕВ, Л. А. ЧЕШКОВА, В. М. ЧИЧКОВ, Г. И. ЯНАЕВ.**

Оформление **А. Гусева и Т. Гороховской**

Рукописи не возвращаются. Технический редактор **А. Бугрова**

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Наш адрес: Москва, А-30, Суцевская, 21. Телефон для справок 251-15-00, доб. 2-29; отделы: «Наша Родина» — 4-09; иностранный — 2-85; литературы — 3-58, 3-93; науки — 3-38; писем — 2-68; иллюстраций — 3-16; приложение «Искатель» — 4-10.

Сдано в набор 6/II 1969 г. Подп. к печ. 18/III 1969 г. А04756.  
Формат 84×108<sup>1/16</sup>. Печ. л. 5 (усл. 8,4). Уч.-изд. л. 12.  
Тираж 2 700 000 экз. Заказ 90. Цена 60 коп.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»  
Москва, А-30, Суцевская, 21.

тила ее. Оганда упала на песок и потеряла сознание.

Когда легкий ветерок с озера вернул ей сознание, она увидела, что над ней склонился какой-то мужчина.

— О!.. — Оганда открыла рот, но у нее пропал голос. Она проглотила протянутую ей воду. — Осинда! Осинда! Дай мне умереть. Мне нужно бежать, солнце садится. Дай мне умереть. Пусть у них будет дождь.

— Мы немедленно должны бежать в далекую страну, — настойчиво твердил Осинда. — Мы должны убежать от гнева предков, от возмездия чудовища.

— Но на мне заклятие, Осинда. Я уже не гоюсь для тебя. Глаза предков будут следить за нами повсюду, и горе нам. Не убежать нам и от чудовища.

Оганда вырвалась, — она страшилась гнева предков, но Осинда снова схватил ее за руки.

— Послушай меня, Оганда! Послушай меня! Смотри! — И он укрыл Оганду с ног до головы, кроме глаз, плетенкой из веточек бвомбе. — Она защитит нас от глаз предков и от гнева чудовища. Теперь бежим.

Он взял Оганду за руку, и они побежали, сторонясь тропинки, по которой Оганда пришла.

Кустарник был густой, а длинная трава опутывала им ноги. Пробежав половину священной земли, они остановились и оглянулись назад. Солнце почти коснулось поверхности воды. Они испугались и побежали снова, на этот раз еще быстрее, чтобы скрыться в лесу от заходящего солнца.

— Верь, Оганда, — оно не доберется до нас.

Когда они достигли леса и, дрожа, оглянулись, над поверхностью воды был виден только один краешек солнца.

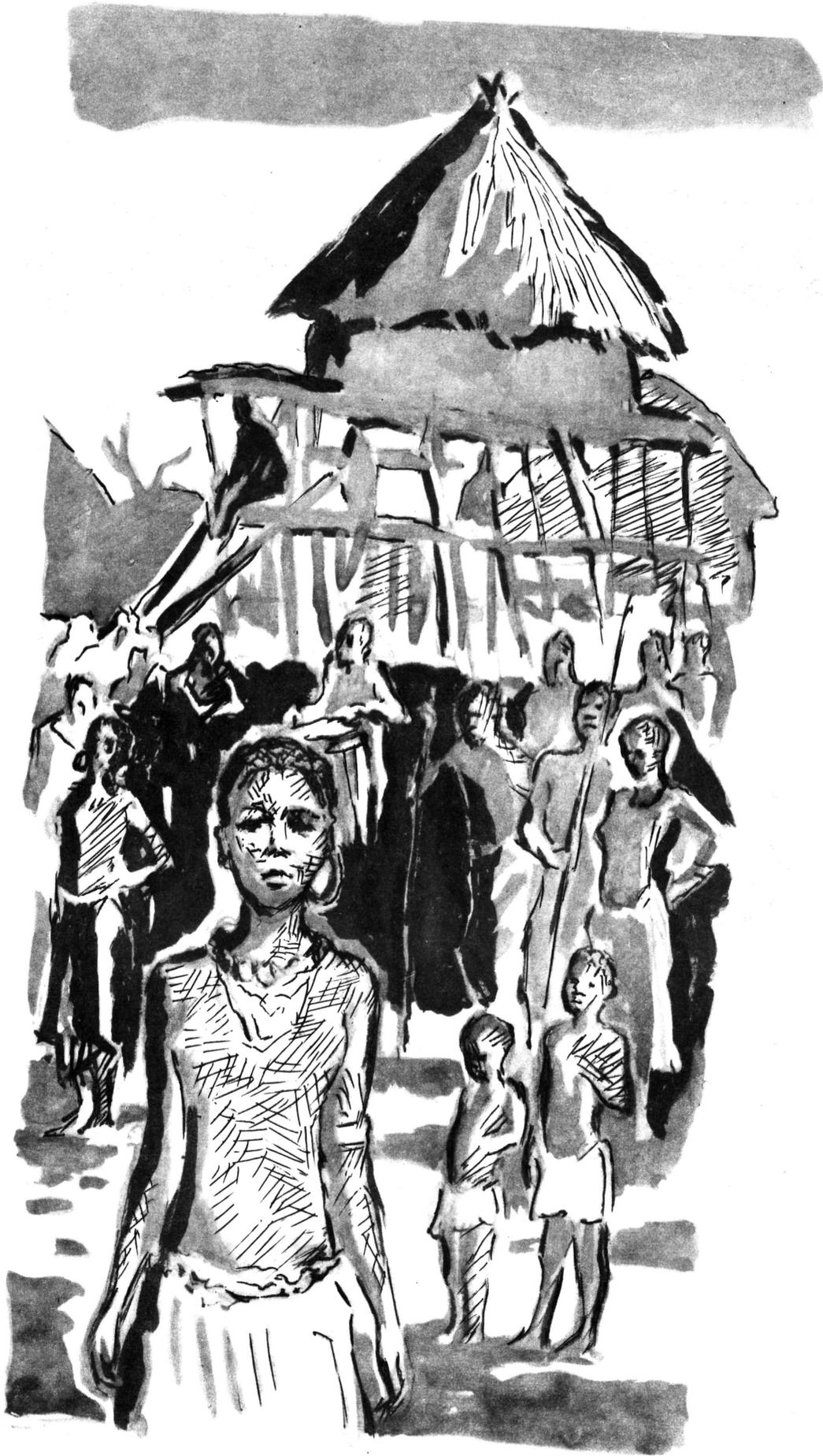
— Оно село! Оно село! — плакала Оганда, закрывая лицо руками.

— Не плачь, дочь вождя. Бежим, бежим скорей.

Вдали вспыхнула молния. Они в страхе взглянули на небо.

В ту ночь дождь лил потоком, чего уже не было очень давно.

Перевел с английского  
**В. ПОСТНИКОВ**



12a-26

Цена 60 коп.

Индекс 70142



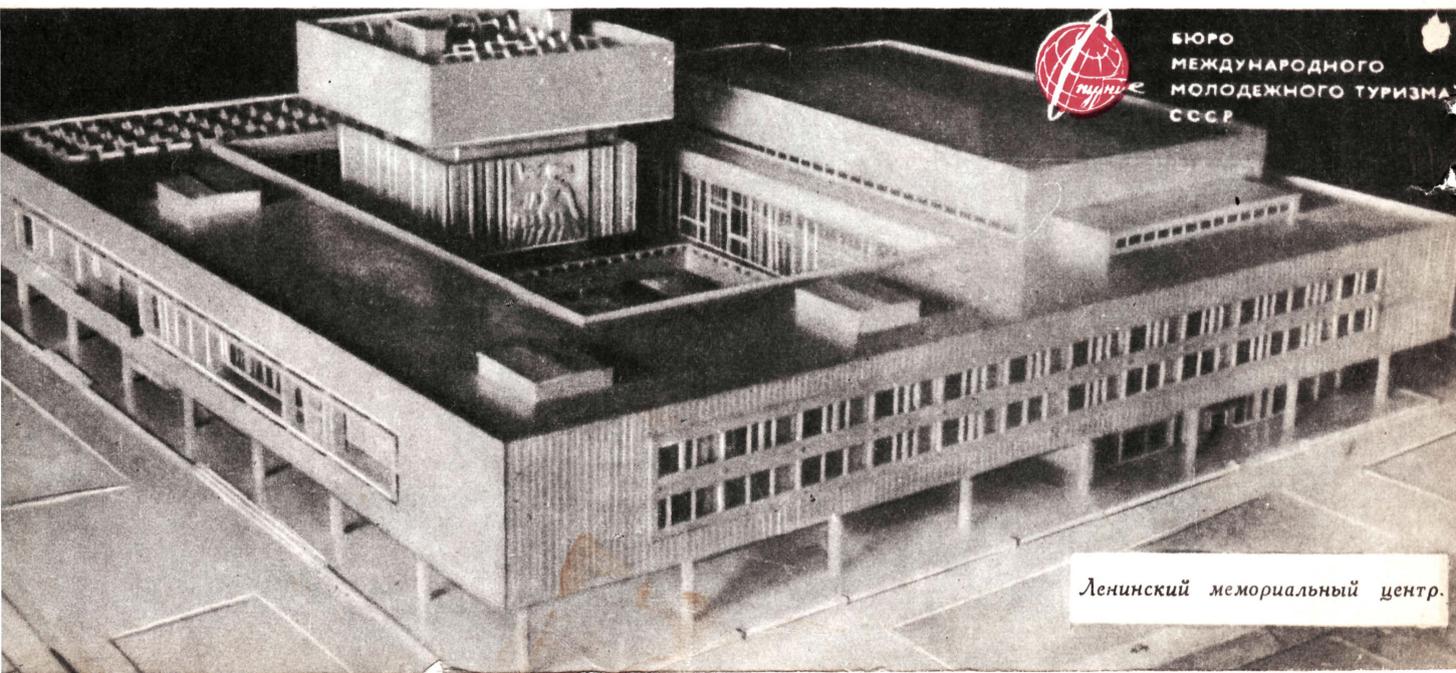
# УЛЬЯНОВСК



Комната Володи Ульянова.



Дом-музей В. И. Ленина (вид со двора).



БЮРО  
МЕЖДУНАРОДНОГО  
МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА  
СССР

Ленинский мемориальный центр.